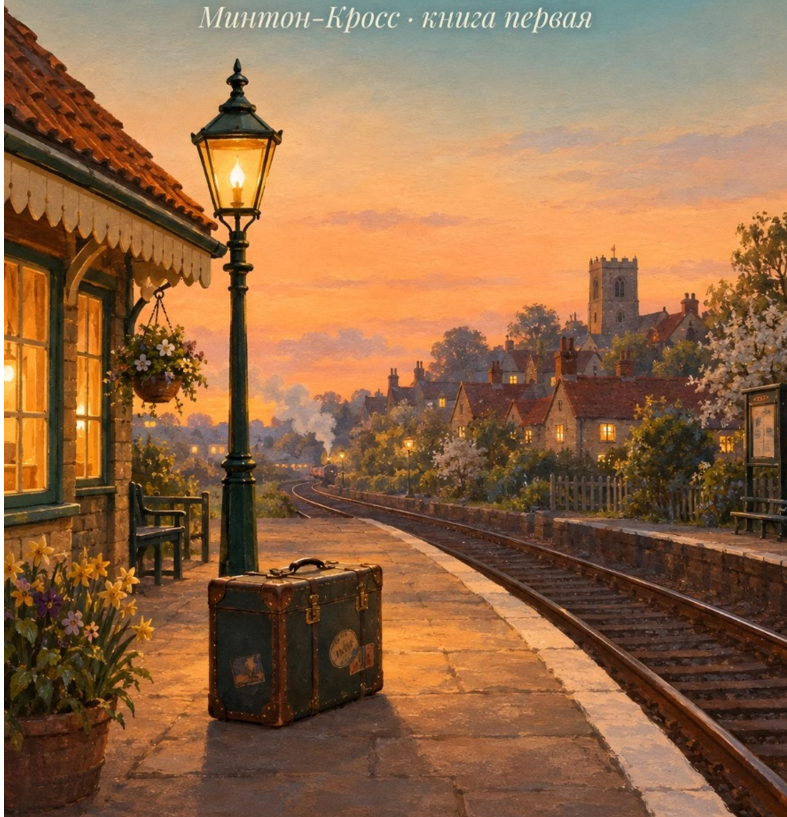


НЕЛЛ ЭШБИ

До Пасхи

Минтон-Кросс · книга первая



Нелл Эшби До Пасхи

<https://litres.ru/74688987>

SelfPub; 2026

Аннотация

Октябрь 1924 года. К Хэтерли в Минтон-Кросс, городок в часе езды от Лондона, приезжает новая гувернантка. Сундук у неё один, зато полный книг, а шестилетний Тедди назначает ей срок: «До Пасхи». В первую же субботу носильщик Доббс ставит в пабе «Колокол» жестянку из-под чая: шесть пенсов и бумажка с датой, когда мисс Пенроуз уедет.

Жестянка будет тяжелеть два года. В «Холлиз» четыре комнаты стоят в чехлах, полковник почти не выходит из кабинета, миссис Хэтерли прячет счёт угольщика, а двенадцатилетняя Мод тайком выучила латынь по отцовской грамматике. Сама и неправильно. Нора Пенроуз берётся учить её всерьёз, хотя платить за школу нечем, а у отца на всё одно слово: «Вздор». Почтмейстерша считает, сколько раз гувернантка заходит за книгами к сыну-учителю. А экзамен Мод в Лондоне выпадает на всеобщую стачку, когда встают поезда.

Первая книга серии «Минтон-Кросс». Для тех, кто любит Флэгг, Пилчер и «Мисс Петтигрю»: смешно и по-доброму, без мрака, тайн и постельных сцен.

Содержание

Худая	4
Ни одной даты	8
Жестянка	15
Комнаты в чехлах	23
Немного	30
Кухня	37
Костёр	43
Вполне удовлетворены	50
Ответ	55
Базар	56
Кентиш-Таун	64
Один гимн	73
Вернулась	80
Объявление	88
Опоздали	89
Мисс Фрай выходит замуж	95
Одолжить гувернантку	102
Конец ознакомительного фрагмента.	105

Нелл Эшби До Пасхи

Худая

Минтон-Кросс, Хартфордшир. Октябрь 1924 года

О том, что к Хэтерли едет новая гувернантка, в Минтон-Кроссе знали с понедельника. Миссис Прюитт с почты знала, потому что письмо из лондонского агентства пришло толстое и с синей печатью. Мясник знал от миссис Прюитт, жена мясника от мясника, а викарий узнал последним и сделал вид, что знал всегда.

Поезд пришёл в четверг, на четверть часа позже расписания. Носильщик Доббс потом рассказывал каждому, кто соглашался слушать, что сундук у неё был один, зато тяжёлый, как чугунная плита, и что она сама взялась за вторую ручку, а такого не делала ни одна гувернантка на его памяти, хотя помнил он их четырёх. Мальчишка из бакалеи разглядел шляпку: тёмно-зелёная, без перьев, с одной пуговицей сбоку. Мисс Тиббс, которая шила шляпки половине прихода, сказала, что это лондонская мода, и сказала так, что всем стало ясно, как она относится к лондонской моде.

К вечернему чаю городок сошёлся на том, что гувернантка молодая, худая и долго не задержится. Предыдущая про-

держалась до Пасхи.

* * *

Без четверти три миссис Хэтерли уже ждала в холле. Сначала стоя, потом на стуле, потом опять стоя, потому что хозяйка на стуле выглядит так, будто ей нечем заняться.

Ей хотелось, чтобы девушка не заметила пятна на потолке над лестницей, и ковра, протёртого у двери в гостиную, и того, что четыре комнаты стояли в чехлах, и того, что полковник с весны почти не выходил из кабинета, а если выходил, то говорил о погоде так, будто погода перед ним в чём-то провинилась, и того, что жалованье в письме агентству она указала честно, но на бумаге оно выглядело меньше, чем когда она его придумывала, и того, что Тедди говорит вслух всё, что думает... Впрочем, это девушка всё равно узнает сама. Завтра, а то и раньше.

Колокольчик у двери не звонил третий год, и мисс Пенроуз постучала так тихо, что открыли ей не сразу.

— Вы, наверное, устали, — сказала миссис Хэтерли. — Простите, что Хоскинс вас не встретил, у него лошадь... Это неважно. Простите.

— Ничего, я прошла.

— Пешком от самой станции?

— Тут ведь близко, я спросила дорогу у носильщика.

— Две мили! — Миссис Хэтерли посмотрела на её туфли.

На лестнице сидели все трое детей, хотя им велели ждать в детской. Двенадцатилетняя Мод держала младших за во-

ротники, как держат за ошейники двух терьеров.

— Это Мод. Это Джордж. А это Тедди.

— Вы умеете играть в крикет? — спросил Джордж.

— Немного.

— А та, что была до вас, не умела.

— Она и мяча боялась, — сказала Мод.

Тедди было шесть, и он долго смотрел на гостью снизу вверх, а потом спросил то, о чём весь Мinton-Кросс спрашивал с понедельника.

— А вы надолго?

Миссис Хэтерли закрыла глаза.

— Посмотрим. А ты как думаешь?

Тедди подумал.

— До Пасхи.

* * *

Сундук Хоскинс привёз в сумерках, на двуколке.

Мисс Пенроуз решили не звать вниз, а отнести ужин наверх, и кухарка миссис Гейдж поднялась с подносом сама, хотя могла послать девочку, а потом говорила, что девочка роняет подносы.

Гувернантка спала поверх покрывала, в пальто и в той самой зелёной шляпке. Сундук стоял открытый: сверху два платья, а под ними одни книги. На столе под лампой белел листок, и миссис Гейдж, которая чужих писем не читала никогда, прочла, потому что лампа светила прямо на него.

«Дорогая мама, доехала хорошо. Здесь всё»

Больше ничего.

Миссис Гейдж сняла с неё туфли, укрыла пледом и накрыла суп тарелкой, чтобы не остыл. Суп, конечно, всё равно остыл.

На кухне горничная Нэнси ждала новостей.

— Ну что, какая она?

— Худая, — сказала миссис Гейдж.

— И всё?

— Книг полный сундук.

— Книг! Зачем гувернантке столько?

— Затем, что она гувернантка. — Кухарка принялась мыть чистый поднос.

Наутро весь Мinton-Кросс знал про книги. Миссис Гейдж про письмо не сказала никому, даже мистеру Гейджу, а мистеру Гейджу она рассказывала всё, а он — всем, да ещё и то, чего не было.

Ни одной даты

«Холлиз». Октябрь 1924 года

Классная в «Холлиз» помещалась в конце верхнего коридора, как раз над кухней, и в ней всегда пахло тем, что готовили к обеду. В пятницу пахло рыбой.

Нора Пенроуз пришла туда в половине девятого, раньше детей, и обошла комнату. Стол, изрезанный перочинным ножом: «Дж. Х.» три раза, крупно, и один раз, мелко, в углу, «М.». Четыре стула, один о трёх ногах — этот стоял у стены, чтобы не упасть. Шкаф с книгами за стеклом. Глобус, на котором Индию протёрли пальцем до картона. Карта Европы, где всё ещё была Австро-Венгрия. Грифельная доска, остывший камин и ящик для угля, в котором вместо угля лежал крикетный мяч.

Камин, как объяснила ей утром Нэнси, в классной начинали топить с ноября. Нора потрогала решётку. До ноября было две недели, и кофту она решила не снимать.

В девять дверь открылась, и вошёл Джордж, за ним Тедди, а за Тедди, через минуту, чтобы никто не подумал, что она торопилась, Мод.

Джордж сразу сел на трёхногий стул, потому что умел на нём сидеть, а больше никто не умел.

— Вы вчера сказали «немного». Немного — это сколько?

— А сколько нужно?

— Чтобы подавать. Хоскинсу нельзя, у него спина. А Мод кидает, как девчонка.

— Я и есть девчонка, — сказала Мод.

— Вот и кидаешь.

— Сначала арифметика, — сказала Нора.

Джордж посмотрел на неё так, будто она сказала, что сначала будет зима, а потом, может быть, когда-нибудь, лето.

— Арифметика никуда не денется. А в ноябре уже темно в четыре, и если подавать, то сейчас, пока всё не раскисло, а то потом дожди, и Хоскинс говорит, что лужайку портить нельзя, хотя на ней никто не играет с тех пор, как я родился, и...

— Семь на восемь, — сказала Нора.

Джордж замолчал и сел на место.

За первый час Нора узнала про Джорджа, что таблицу умножения он знает до семи, а дальше «не нужно». Что он помнит, кто сколько очков набрал этим летом в каждом матче графства, о котором писали в газете. И что одно с другим у него никак не связано, хотя очки он складывал в уме быстрее, чем она на бумаге.

— Если у одного шестьдесят три, а у другого сорок восемь, сколько вместе?

— Сто одиннадцать!

— Теперь семь на восемь.

— Это опять не крикет, — сказал Джордж.

Тедди за тот же час рассказал ей всё, что знал, а знал он

про всех. Что у мисс Тиббс одна шляпа на похороны и на свадьбы, только лента другая. Что Хоскинс разговаривает с лошадьё, а с людьми только тогда, когда они стоят рядом с лошадьё. Что миссис Прюитт на почте смотрит письма на свет. Что папа пишет историю полка и если хоть один листок упадёт на пол, поднимать нельзя, надо звать маму. Что прежняя мисс по средам плакала в бельевой, а по воскресеньям нет. И что под лестницей живёт мышь, которую миссис Гейдж не ловит, потому что мышь в этом доме старше Нэнси.

— И это всё правда?

— Почти. Про мышь правда.

Потом Тедди посмотрел на неё снизу вверх, как вчера на лестнице, и спросил, плачет ли она по средам.

— А сегодня среда?

— Пятница!

— Ну вот.

Мод в разговор не встревала. Она сидела у окна, спиной к остальным, и делала вид, что ей скучно, а Нора делала вид, что этого не видит. Так прошло ещё полчаса.

За окном был конюшенный двор, за ним теннисная лужайка, на которой лежали листья и никто не играл, а дальше поле и серое небо. Хоскинс водил по двору лошадь. Провёл её по кругу, постоял, провёл по второму, и Нора поняла, что ни на какую станцию эта лошадь сегодня не поедет и вчера бы не поехала: у неё просто было много дел. В Кентиш-Тауне мамино окно выходило на чужой двор: бельё на верёвке,

кошка на заборе. Там тоже ничего не происходило, только быстрее. Мама шила у этого окна, пока было светло, чтобы не жечь лампу. Сейчас она, наверное, сидела там с чужим платьем на коленях.

Потом Нора дала Мод листок и попросила написать всё, что та знает про историю, хоть что-нибудь, вразброс, как вспомнится.

Мод писала двадцать минут, ни разу не подняв головы, и исписала листок с обеих сторон. На листке были слоны Ганнибала и сколько их перевалило через Альпы, Ричард Львиное Сердце и его выкуп, как варить черепаховый суп, отчего у лошади бывают колики, Айвенго, который был, как Мод уточнила в скобках, не настоящий, но почти, и сожжение Рима, которое видел Нерон, хотя этого никто не может доказать. Нора прочла листок дважды. Мод читала всё, что стояло в доме на полках, от поваренной книги до справочника по болезням лошадей, который она взяла у Хоскинса и не вернула. Читала она подряд и без разбора, потому что разбирать за неё было некому.

Ни одной даты.

— Ганнибал был до Цезаря или после?

— Это важно?

— Важно.

— До. Наверное. У Цезаря слонов не было.

— Хоть одну дату ты знаешь?

Мод отвернулась к окну, к конюшенному двору, подумала

и назвала свой день рождения.

В одиннадцать в дверь постучали, и заглянула миссис Хэтерли. Входить не стала, осталась на пороге, хотя и классная, и дети были её собственные.

— Я только хотела спросить, не нужно ли вам чего-нибудь, бумаги, или чернил, или, может быть, второй лампы, хотя днём лампа, конечно, ни к чему, но прежняя мисс всегда просила вторую лампу, она читала по ночам, а потом жаловалась на глаза, и я подумала... Мод, сядь прямо. Я не мешаю. Я ухожу.

— Спасибо, ничего не нужно.

Миссис Хэтерли посмотрела на холодный камин, потом на Норину кофту и, видимо, хотела что-то сказать. Но сказала только, что обед в час, и это все и так знали. Дверь она закрыла за собой так осторожно, будто в классной кто-то спал.

Прежняя мисс, если судить по тетрадам в шкафу, учила их вышивать гладью и английским королям по порядку. Короли в тетрадах кончались на Генрихе Восьмом. Дальше, видимо, наступила Пасха.

* * *

Латынь Нора нашла случайно.

Пока Джордж решал на доске примеры, а Тедди помогал ему советами, она занялась шкафом. Сверху стояли детские книги с картинками, которые давно никто не открывал. Ниже — учебники прежних мисс, по одному от каждой. А в самом низу, за атласом, лежала толстая серая книжка с ото-

рванным уголком переплёта. «The Eton Latin Grammar». На форзаце выцветшими чернилами стояло «А. Хэтерли», а под подписью — лошадь, и у лошади пять ног: видимо, первая не удалась.

Из книжки выпала тетрадь.

Тетрадь, тоже серая, была исписана наполовину мелким ровным почерком — так пишут те, кто боится, что поймут. Склонения, первое, второе и кусок третьего, таблица за таблицей. Таблицы Нора узнала не сразу: падежи в них стояли не в том порядке, к какому она привыкла. Но Мод тут ни при чём: Нора училась по учебнику Кеннеди, а Мод переписывала отцовскую книгу, старую итонскую, где порядок был свой. Ошибки у Мод тоже были свои, в окончаниях. Окончания она брала из соседней таблицы, той, что оказывалась ближе, и слово, начатое по первому склонению, внизу столбика дописывала уже по второму. Так до конца страницы, без единой помарки.

Нора учила эти таблицы в четырнадцать лет, в классе на тридцать девочек, по хорошему учебнику, с учительницей, которая била линейкой по столу, а не по рукам. И всё равно до самого Рождества путала второе склонение с третьим. У Мод не было ни класса, ни учительницы, ни линейки. Была отцовская книга и угол у полки, где её никто не искал.

И всё-таки Мод выучила. Сама, полтетради.

Нора перевернула ещё лист. Тедди у доски перестал подсказывать.

Мод стояла рядом. Взяла у Норы тетрадь — не дёрнула, а именно взяла, вежливо и крепко, как берут у младших ножницы.

— Это личная корреспонденция, — сказала она.

— С кем?

Мод помолчала.

— С папой. Только он не знает.

Джордж у доски уронил мел. Тедди объявил, что мел упал, как будто кто-то мог этого не заметить.

Нора ничего не сказала про окончания. Достала из сумки новую тетрадь, синюю, ещё лондонскую, и написала на обложке: «Мод Хэтерли. Латынь».

— Эта ещё не кончилась, — сказала Мод и прижала серую к груди.

— Кончится.

— К Рождеству?

— Может быть.

Мод посмотрела на синюю тетрадь.

— Вам тоже до Пасхи?

Нора не ответила. Обмакнула перо и под именем, ровно и разборчиво, поставила число: 17 октября 1924 года.

Мод долго смотрела на обложку. Потом взяла синюю тетрадь, положила поверх серой и вернулась к окну.

— Битва при Гастингсе, — сказала она оттуда, не оборачиваясь. — Тысяча шестьдесят шестой. Я вспомнила.

Жестянка

Хай-стрит. Октябрь 1924 года

В субботу новая гувернантка из «Холлиз» пришла на почту с письмом, и к обеду об этом знала вся Хай-стрит, хотя ничего особенного тут не было: люди для того и ходят на почту, чтобы отправлять письма. Всё дело было в толщине. Письмо это она писала с первого вечера, по листку, а до почты добралась только теперь, в первую свободную субботу.

Почта и бакалея Прюиттов помещались напротив рыночного креста, под одной крышей и за одним прилавком. С левого конца продавали марки и бланки телеграмм, с правого — чай, свечи, мыло, шнурки и мятные леденцы, а посередине стояли весы, на которых миссис Прюитт взвешивала то письма, то изюм и ни разу в жизни их не перепутала.

Миссис Прюитт овдовела давно и с тех пор не отдыхала ни дня, если не считать отдыхом воскресенье, а она не считала. О чужих письмах она говорила в будущем времени. «Это будет от сестры», — говорила она, отдавая конверт, и письмо оказывалось от сестры. «Это будет счёт» — и оказывался счёт. Ошибалась она так редко, что в Минтон-Кроссе иные хозяйки, получив письмо, сначала шли не домой его читать, а через площадь, к ней, узнать, от кого оно.

По субботам за левым концом прилавка стоял её сын Сэм. Всю неделю Сэм Прюитт учил детей в церковной школе, а

по субботам уроков не было, мать же не отдыхала никогда, и он становился за прилавок, чтобы ей было с кем не отдыхать. Было ему двадцать семь. Высокий, слегка сутулый, как человек, который всю жизнь входит в низкие двери, он перед каждым словом думал так долго, что покупатели иногда успевали ответить за него.

Гувернантка вошла в четверть одиннадцатого. Шляпка была та самая. Письмо она держала обеими руками, будто оно могло рассыпаться.

Миссис Прюитт перехватила письмо прежде, чем сын успел протянуть руку. Подержала на ладони. Положила на весы.

— Полтора пенса. Еле-еле. Ещё листок, и было бы два.

Перевернула конверт, прочла адрес.

— Кентиш-Таун. Это будет маме.

— А кому же ещё? — спросила гувернантка.

Миссис Прюитт не нашлась что ответить, а случилось с ней такое до того редко, что дату она запомнила.

Сэм достал из ящика марку. Положил на прилавок.

— Полтора пенса, — сказал он. И потом, когда она уже отсчитывала монеты: — ...мисс.

Она заплатила, наклеила марку сама, кивнула и вышла. Только и всего.

Мать посмотрела на сына. Сын смотрел на весы.

* * *

К полудню новость дошла до мясной лавки Пайка, потому

что почтмейстерша пошла за отбивными.

— Письмо матери. Листов восемь, не меньше. Я по весу считаю.

Мистер Пайк сказал жене, что восемь листов. Миссис Пайк сказала булочнице, что восемь листов матери на второй неделе — это значит, девушка жалуется. Булочница сказала мисс Тиббс, что гувернантка у Хэтерли жалуется матери на восьми листах и, говорят, плачет. Мисс Тиббс выслушала всё это, не выпуская изо рта булавок. Потом вынула булавки.

— В такой шляпке я бы тоже плакала.

К вечеру листов было двенадцать.

* * *

В «Колоколе» по субботам было людно с шести, а в эту субботу особенно, потому что в среду выборы, а утром «Daily Mail» напечатала про заговор. Хозяин положил газету туда, где обычно лежала тряпка, и весь вечер вытирал стойку рукавом.

Громче всех говорил садовник Гейдж. Работал он по вызову в половине домов прихода, и в «Холлиз» тоже, а жена его служила у Хэтерли кухаркой, так что про «Холлиз» он знал всё, а про Москву прочёл сегодня утром.

— Письмо, — говорил Гейдж и стучал пальцем по газете. — Прямо из Москвы, нашим социалистам. Насчёт гражданской войны. Всё расписано, что делать, кому, когда.

— Кто его видел, это письмо?

— В газете напечатано.

— В газете много чего напечатано.

— Это не много чего. Это заговор!

Доббс пришёл позже всех, когда сдал смену, и газету читать не стал.

— У меня брат в Ноттингемшире, в шахте. Социалист с малолетства. Так он в Москву ни разу не писал. Он и мне-то не пишет.

С севера, с ноттингемширских шахт, мимо станции Минтон-Кросс каждый день шли угольные составы на Лондон, и про каждый Доббс говорил, что это, может быть, братнин уголь. Проверить этого никто не мог, и спорить никто не спорил.

Зато про гувернантку спорили все, и спорили так, будто от этого зависело больше, чем от выборов.

— Правда, что пешком шла? — спросил кто-то.

— Две мили, — сказал Доббс.

— В туфлях?

— В туфлях. На тонкой подошве.

— Что в сундуке-то?

— Книги, — сказал Гейдж.

— Книги! Зачем ей книги?

— Затем, что она гувернантка, — сказал Гейдж таким голосом, будто сам придумал. Придумала-то жена, но в «Колоколе» её не было.

— Сундук, я вам скажу, — начал Доббс, — был такой, что я его снимаю, а он не снимается, и я думаю, ну всё, так и

простоит на перроне до весны, а она подходит, сама, в перчатках, берётся за вторую ручку, и мы его вдвоём, и я ей говорю: мисс, говорю, вы бы отошли, а она говорит: ничего, и тащит, и я вам так скажу, у меня четыре гувернантки было, и ни одна, ни одна не тащила.

— Тяжёлый, значит, — заметил хозяин.

— Как плита. С такими сундуками не задерживаются.

— Почему?

Доббс не знал почему, но отвечать было надо, и он сказал, что с тяжёлым сундуком уезжать так же легко, как приезжать, лишь бы был носильщик, а носильщик всегда есть. Все нашли, что это убедительно.

Потом Доббс достал из кармана жестянку.

Жестянка была квадратная, из-под чая, с китайцем на крышке, у которого давно стёрлось лицо. Доббс поставил её на стойку. Хозяин тут же снял жестянку и сунул ему в руки.

— Не на стойку. Мне в феврале лицензию продлевать. Найдут у меня в зале игру на деньги, могут и в лицензию записать.

— На церковном базаре тоже лотерея, — сказал кто-то.

— И та незаконная, — сказал хозяин. — Они все незаконные.

Хозяин вытер рукавом то место на стойке, где постояла жестянка. С той минуты жестянка числилась за Доббсом, а не за «Колоколом». Доббс держал её на коленях, хозяин на неё не смотрел, а все остальные смотрели только на неё.

— Шестипенсовик. И бумажка. На бумажке пишешь число, когда гувернантка уедет. Чьё число ближе, тому всё. А пока она здесь, никому ничего.

— До Рождества можно?

— Пиши до Рождества.

— А если она замуж выйдет?

— За кого?

Все посмотрели друг на друга, и вопрос сняли.

Шестипенсовики пошли в жестянку один за другим. Писали огрызком карандаша, который Доббс носил за ухом для багажных ярлыков, на листках, вырванных из его же квитанционной книжки, и складывали вчетверо, чтобы сосед не подглядел, хотя сосед подглядывал. Писали «первое декабря». Писали «к Рождеству», и Доббс требовал число: Рождество у всех одно, а ему нужно, чтобы ближе. Кто-то написал «как только увидит, где у них течёт», и Доббс вернул бумажку, потому что это не дата. Сам он поставил на второе февраля и объяснил: в феврале у гувернанток кончается терпение, а наблюдений у него четыре, ни у кого в зале столько нет.

Почти все даты были до Пасхи. Одна или две — на саму Пасху, для верности.

Гейдж подошёл к жестянке последним. Положил шестипенсовик и сложенную бумажку.

— Это не моё. Меня попросили.

Доббс развернул бумажку, прочёл, и брови у него поднялись так высоко, что фуражка съехала на затылок.

— Далеко. Это далеко за Пасху!

— Чьё?

— Не скажу, — сказал Гейдж.

Ему никто не поверил. Гейдж всегда прибавлял. Если он рассказывал, что видел на дороге лису, то лиса была с лисятами, а если с лисятами, то лисята были ручные. Решили, что бумажку он написал сам, для интереса, а «попросили» прибавил по привычке. Кто-то вспомнил, что на свадьбе у Гейджей, по его же словам, был епископ, а епископа там не было, был викарий, и тот опоздал.

— Был епископ, — сказал Гейдж. — Проездом.

Бумажку Доббс сложил и положил в жестянку вместе с остальными, и про Москву в тот вечер больше не говорили. Жестянку он унёс во внутреннем кармане форменной куртки и с тех пор так и носил: стоило ему взяться на перроне за чужой сундук, в кармане звякало.

* * *

Викарий узнал о жестянке последним, в понедельник, от миссис Прюитт, когда зашёл на почту за марками.

Преподобный Мортон был человек добрый и рассеянный, с белыми бровями и привычкой держать руки за спиной, отчего казалось, что он всё время что-то прячет, хотя прятать ему было нечего. Марки он так и держал за спиной, пока она рассказывала, и сказал, что лотерея — дело незаконное и для прихода постыдное и что он, конечно, поговорит. Говорить он ни с кем не стал, но в следующее воскресенье прочёл

проповедь на слова «итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа», и половина прихода решила, что это про жестянку, а вторая половина — что vikapиpий тоже поставил, только не знает, на какое число.

Комнаты в чехлах

«Холлиз». Ноябрь 1924 года

Утреннюю почту Нэнси приносила в малую гостиную на подносе, и Клара Хэтерли узнавала каждое письмо по конверту, ещё не взяв в руки.

В понедельник писем было три.

— Одно из «Ред-Холла», мэм. Шофёр привёз сам. В перчатках.

— Спасибо, Нэнси.

— Это про базар, мэм?

— Спасибо, Нэнси.

Нэнси постояла ещё ровно столько, сколько можно стоять, когда тебя уже два раза поблагодарили, и ушла, оставив дверь чуть приоткрытой, на случай, если её позовут обратно и всё ей расскажут.

Длинный конверт с названием банка в левом углу — на имя полковника. Сам он с весны не открывал ничего, кроме газеты, и домашние письма давно открывала Клара, а банковские — потому что они тоже были домашние. Банк позволял себе почтительно обратить внимание полковника Хэтерли на состояние его счёта и выражал уверенность, что полковник Хэтерли найдёт возможность в ближайшее время... Она прочла письмо дважды, сложила вчетверо, хотя пришло оно сложенным втрое, и убрала в хозяйственную

книгу, между октябрём и ноябрём.

Счёт от Пайка был за октябрь. Пайк писал карандашом, крупно, и в октябре у него вышла на одну баранью ногу больше, чем Клара помнила. Она стала вспоминать, куда могла деться баранья нога, вспомнила последнее воскресенье октября, когда к обеду был викарий, и счёт тоже убрала в книгу.

Третий конверт был толстый, кремовый, с красными буквами «Ред-Холл» на клапане. Лилиан Олдридж писала, что дамский комитет рождественского базара соберётся во вторник в три часа, что без дорогой Клары комитет не комитет, и что Гарольд с радостью пришлёт за ней машину, «чтобы не беспокоить вашу лошадь».

Клара положила письмо на стол лицом вниз и посидела, глядя на кремовую спину конверта.

Лошадь. Про лошадь знали все.

* * *

Список того, чего никто не должен заметить, Клара никогда не писала на бумаге: бумага могла попасться кому-нибудь на глаза. Держала его в голове и каждое утро проходила по нему, как экономка обходит комнаты с ключами.

Начало у списка было старое, ещё весеннее: пятно, ковёр, комнаты в чехлах. Эту часть она проходила не останавливаясь. Останавливалась дальше, там, где список с каждым месяцем рос.

Угля хватало на два камина. Один, в кабинете у полков-

ника, горел с утра до ночи, потому что и полковник сидел там с утра до ночи. Второй огонь кочевал. Утром его разводили в классной, к вечеру — в малой гостиной, а днём не разводили нигде, и Клара заметила, что ей стало легче шить в пальто. Угольщик приходил с мешками на спине и оставлял счёт, где мешки шли столбиком, и каждый лишний камин в этом столбике бросался в глаза.

Классную полагалось топить с первого ноября. В октябре она про себя перенесла первое ноября на пятнадцатое, но вслух сказать так и не смогла, а Нэнси мыслей читать не умела, и в субботу, первого, в классной развели огонь. Клара спустилась утром, увидела дым из трубы над классной и ничего не сказала. В конце концов, первое ноября — это первое ноября.

И ещё: письмо из банка. И счёт Пайка. И то, что дети с зимы ужинали внизу, со взрослыми, потому что ужин в детской — это ещё один поднос, ещё одна лампа и ещё один огонь, а прежней мисс Клара объяснила, что так теперь принято в лучших домах, и прежняя мисс, кажется, поверила. И то, что полковник выходил из кабинета только к столу, а к столу выходил молча. И то, что на прошлой неделе она сама отпоролла от старой портьеры в бильярдной два ярда бахромы и обшила ею свою осеннюю шляпку, и что мисс Тиббс в церкви, кажется, это заметила, потому что мисс Тиббс замечала всё, что пришито. И то, что в «Колоколе», как обмолвилась на днях Нэнси, кто-то завёл какую-то жестянку и все туда что-

то кладут, а что и зачем, Нэнси не договорила, а Клара не спросила, потому что если не спросить, то как будто и нет никакой жестянки.

В половине одиннадцатого Клара, как всякое утро, спустилась на кухню отдать распоряжения на день. Миссис Гейдж стояла у стола и резала лук, и резать не перестала.

— Суп, миссис Гейдж. Я подумала, может быть, сегодня... не такой густой? Я не говорю, что жидкий, я только хочу сказать, что полковник в последнее время...

— Не такой густой, мэм.

— Не то чтобы жидкий.

— Я поняла, мэм.

— И баранина. Я знаю, что она с воскресенья, но, может быть, если...

— Баранину я назову по-другому, мэм.

Клара поблагодарила её и поднялась наверх так быстро, будто только что попросила у кухарки взаймы, хотя никто ни у кого ничего не просил.

Потом она перевернула письмо Лилиан и написала ответ. Она придёт с удовольствием. Машину присылать не нужно, Хоскинс отвезёт и привезёт.

Над последней фразой она задержалась. Потом переписала письмо набело, чтобы «не нужно» не выглядело так, будто над ним долго думали, и запечатала конверт.

* * *

К ужину Клара спустилась первой и проверила стол. Суп,

баранина, которая с воскресенья выходила к столу в третий раз и каждый раз под новым названием (миссис Гейдж была в этом художница), картофель и яблоки из сада. Лампу над столом прикрутили на полфитиля. Она прибавила огня, посмотрела и снова прикрутила.

Полковник вышел из кабинета, когда все уже сидели, и сел во главе стола. Высокий, прямой, с седыми усами, он и садился так, будто где-то рядом ещё играл полковой оркестр. Клара каждый вечер ждала, что он скажет что-нибудь о детях, или о выборах, которые на прошлой неделе выиграла его партия, или хотя бы о гувернантке.

— Ветер переменился, — сказал полковник.

— Да. Я тоже заметила. То есть я не заметила, но раз ты говоришь...

— С юго-запада. К дождю.

Мисс Пенроуз сидела напротив, между Мод и Тедди, и резала Тедди мясо. Держалась она прямо и ела всё, что ей клали, медленно и аккуратно — так едят, когда знают, что добавки не будет, и просить её не собираются. Мод читала под столом. Джордж ногой отбивал мяч, которого не было.

Тедди долго смотрел на отца. Он вообще умел смотреть долго.

— Папа. Почему ты никуда не выходишь?

Джордж перестал бить ногой. Мод подняла глаза от книги. Клара взялась за ложку.

Полковник посмотрел на Тедди. Потом на окно, за кото-

рым было темно.

— Сыро, — сказал он.

— А в кабинете не сыро?

— Тедди. Ешь, пожалуйста. Мисс Пенроуз, может быть, ещё картофеля? Или... Тедди, ешь!

— Спасибо. Очень вкусный суп, миссис Хэтерли.

Суп был жидкий. Уж кто-кто, а Клара это знала: сама утром просила. Она посмотрела на гувернантку. Гувернантка смотрела в тарелку Тедди: мясо она нарезала ему мелко, по-детски, ровными кусочками, хотя Тедди в шесть лет уже прекрасно резал сам и этим гордился, а сейчас почему-то не возражал.

Полковник доел, сложил салфетку и встал.

— Ночью будет дождь, — сказал он и ушёл к себе.

Ночью и правда пошёл дождь. В этом полковник никогда не ошибался.

* * *

Мисс Пенроуз всё заметила. Клара была в этом уверена, и уверена твёрдо, а не так, как утром насчёт бараньей ноги. Девушка видела пятно над лестницей, потому что в первый же вечер стояла под ним. Видела бильярдную, где не играли с войны, и большую столовую, где не обедали с тех пор, как полковник вышел в отставку: Тедди водил её по дому и открывал все двери подряд, а из каждой тянуло холодом и лавандой, и мебель под чехлами стояла белая, без углов. Видела, наверное, и бахрому. И ни о чём не спросила.

Хорошо это или плохо, Клара не знала.

Сначала она решила, что хорошо. Девушка воспитанная, не болтает, а прежняя мисс за первую неделю успела спросить, почему в доме так холодно, а за вторую — почему полковник не выходит к гостям, и к гостям ли он не выходит или вообще. Потом решила, что плохо: кто молчит, тот, значит, думает. А о чём думает гувернантка, которая всё видит и хвалит жидкий суп, Клара представить не могла и поэтому представляла самое худшее: что девушка их жалеет.

А если она напишет матери? На Хай-стрит говорили, что она уже написала, на восьми листах, Нэнси сама слышала от булочницы. О чём можно написать матери на восьми листах, если не о пятне и не о супе? А мать — знакомым? А знакомые — в агентство? И что тогда скажут в агентстве, где письмо самой Клары про жалованье лежит в папке и выглядит там, наверное, ещё меньше, чем выглядело у неё на столе?

К часу ночи она так ничего и не решила и уснула. Во сне пришёл угольщик, сел на ступеньку под пятном и стал вслух считать мешки.

Немного

«Холлиз», лужайка. Ноябрь 1924 года

«Немного» у взрослых, как давно заметил Джордж, ничего не значило.

Викарий в воскресенье «немного затянул» проповедь, и Джордж за это время насчитал у мистера Гейджа сорок один зевок. Мама «немного устала», когда не хотела ехать к Олдриджам. Папа «немного занят» был с весны. А прежняя мисс «немного боялась мяча» и, когда Джордж в первый раз ей бросил, закрыла лицо руками и села на клумбу.

Поэтому, когда новая мисс в первый же день на вопрос про крикет сказала «немного», Джордж решил проверить сам. Ждать было нельзя. Через год, а может, и раньше, его отправят в школу, туда, где учился папа, в приготовительную, а там есть первая команда, и в неё берут не всех, а только тех, кто умеет отбивать. А чтобы уметь отбивать, нужно, чтобы кто-нибудь тебе подавал. Хоскинс не мог из-за спины, мистер Гейдж из-за роз, папа из-за полка, Мод бросала, как девчонка, а Тедди до калитки не добрасывал. Оставалась мисс.

Во вторник маму отвезли к Олдриджам на какой-то комитет, и Хоскинс, вернувшись, распрягал в конюшне лошадь. Уроки кончились в три. В четверть четвёртого Джордж уже стоял на теннисной лужайке с битой.

Бита была папина, старая, с трещиной, перевязанной бечёвкой, и на полголовы длиннее, чем нужно. Мяч он достал из угольного ящика в классной. Там мяч пролежал всё лето, а с первого ноября, как стали топить, лежал прямо на угле и из красного сделался почти чёрным. Вместо калитки Джордж поставил вверх дном ведро, которое утащил от конюшни, пока Хоскинс не видел. Двадцать два ярда отмерил шагами, и вышел тридцать один шаг, потому что шаги были его.

Лужайка была мокрая, в палых листьях, и под ногами чавкало.

Мод сидела на скамейке с книгой, будто пришла читать. Рядом сидел Тедди — он был за судьёю.

— Не придёт, — сказала Мод, не поднимая глаз.

— Придёт!

— Тогда в туфлях. В туфлях по такому не подадут.

— Значит, в туфлях подаст.

— Спорим?

— На что?

Спорить с Джорджем было не на что: у него не было ничего, кроме биты, а Мод до биты не было никакого дела.

— На то, кто первый замолчит, — сказала она и замолчала первой.

Новая мисс вышла из дома последней, в пальто и зелёной шляпке, и первым делом подошла к ведру.

— Это ведро Хоскинса.

— Он не узнает.

— Узнает.

— Тогда я скажу, что это вы.

Новая мисс кивнула, будто уговор был честный. Потом взяла мяч, взвесила на ладони и пошла по мокрой траве отмерять свои двадцать два ярда, не шагами, а на глаз.

Первый мяч Джордж пропустил. Он ждал, что мяч подскочит высоко и мимо, как у Мод, а мяч не подскочил: ударился о траву раньше, чем он думал, проехал по мокрому, как по мылу, и остановился в дюйме от ведра.

— Повезло, — сказал Джордж.

— Кому?

Второй он отбил. Отбил хорошо, звонко, и мяч улетел в остролист у ограды, и Тедди полез за ним на четвереньках и вылез весь в колючках, но с мячом.

— Видели? — крикнул Джордж. — Видели!

— Видели. — Мод перевернула страницу.

Джордж перехватил биту поудобнее. Теперь он знал, как всё будет. Он будет стоять в белом на настоящем поле, с настоящей калиткой, а не с ведром, и папа приедет на матч, в первый раз за всё время приедет, и будет стоять у ограды в своём пальто, и кто-нибудь рядом скажет: «Это младший Хэтерли», а папа ничего не скажет, только кивнёт, а мяч уйдёт за ограду, через всю площадку, и все будут смотреть, как он летит, и даже судья...

Третий мяч пошёл так же низко, как первый, только быстрее. Джордж опустил биту, но бита была длинная, а мяч, низ-

кий, проскочил под ней. Ведро загремело на всю лужайку. В конюшне заржала лошадь.

— Аут! — объявил Тедди.

Из конюшни вышел Хоскинс с упряжью в руках и посмотрел на ведро.

— Ведро-то...

И ушёл к себе в конюшню.

* * *

— Ещё, — сказал Джордж.

Нора подала ещё. И ещё. Из следующих девяти мячей Джордж отбил шесть, два пропустил и один раз опять уронил ведро, и тогда сказал, что оно стоит криво, а Нора спорить не стала и поставила его прямо. Земля под ногами раскисла совсем. Подол у неё был мокрый до колен, туфли, которые она высушила после станции только к воскресенью, опять промокли, и пальцы правой руки, которой она подавала, перестали слушаться. Туфель у неё было две пары, эти и воскресные. Она прикинула: если сушить эти у камина в классной и не надевать, к четвергу высохнут. Но воскресные были для воскресенья, так что завтра придётся надеть эти. Темнело.

— Где вы научились? — спросил Джордж, когда они шли искать мяч в остролисте.

— В Кентиш-Тауне. Там школа на улице. Бросает тот, кто не успел убежать.

Джордж запомнил, как запоминают правила игры.

— Вы не успевали?

— А зачем убегать?

Мяч лежал под остролистом, мокрый и тяжёлый, и Джордж обтёр его о свитер, отчего свитер не стал чище, а мяч не стал суше.

— В przygotowительной есть первая команда. Туда берут, если умеешь отбивать. Не всех. Я хочу туда. Только мне никто не подаёт, а сам себе не подашь.

Выпалил он всё это одним духом и сердито, глядя на мяч, будто сознавался в краже. Нора не стала обещать, что возьмут. Она не знала, возьмут ли. Ей в шестнадцать лет тоже все обещали учительский колледж, и, наверное, не зря. Платить было нечем.

— Такие, как сегодня, ты отбиваешь через раз.

— Такие никто не отбивает.

— Значит, будешь первым.

— А если дождь?

— После дождя.

Джордж посмотрел на неё снизу вверх, совсем как Тедди, только быстрее, и сунул мяч в карман. Карман оттопырился. В угольный ящик мяч больше не вернулся.

С лужайки они ушли в темноте. Мод захлопнула книгу, которую уже полчаса не видела, и сказала, что ничего не видела. У крыльца она отстала от мальчиков и подождала Нору.

— Как вы держите мяч?

Нора показала: два пальца сверху, большой снизу. Мод внимательно посмотрела на её руку, как смотрела на табли-

цы склонений, и сложила пальцы так же — в воздухе, без мяча.

— Это не для крикета.

Нора поняла, для чего: чтобы Джордж больше не говорил «как девчонка». Мод ушла в дом первой. Тедди нёс ведро. Ведро Хоскинсу вернули на конюшне, с поклоном от Тедди, и Хоскинс молча повесил его на гвоздь.

* * *

В «Колоколе» в тот вечер разбирали два слова: «гувернантка» и «ведро». Больше Хоскинс у ворот Гейджу не сказал, потому что больше говорить не любил, а садовник, чего за ним никогда не водилось, ничего от себя не прибавил: он и сам не понял, что это значит. Объяснять взялись все. Одни решили, что гувернантку у Хэтерли заставляют мыть крыльцо. Другие — что она надела ведро на голову мастеру Джорджу и правильно сделала. Доббс достал из-за уха карандаш, повертел и сказал, что ведро, если его перевернуть, — это калитка, а раз калитка, значит, крикет.

Мисс Тиббс, когда ей пересказали про крикет, сказала только, что в шляпке на крикет не выходят. Но в тот вечер, пришивая ленту к чужой шляпке, она два раза уколола палец: торопилась, а торопилась мисс Тиббс, только когда что-нибудь шло так, как ей хотелось.

Кто-то в «Колоколе» попросил у Доббса свою бумажку из жестянки назад, чтобы поставить число попозже. Доббс не отдал.

— Что положено, то положено, — сказал он и застегнул куртку на жестянке.

Кухня

«Холлиз», кухня. Ноябрь 1924 года

Миссис Гейдж кормила этот дом двадцать один год. Пришла она в «Холлиз» в девятьсот третьем, когда в доме ещё не было ни миссис Хэтерли, ни детей, ни пятна над лестницей, и с тех пор не опоздала с обедом ни разу, если не считать дня, когда в трубе плиты застряла галка.

Она знала, сколько стоит каждый обед, хотя цен вслух не называла никогда. Знала, на сколько дней хватает курицы, если её правильно разделить, и на сколько, если неправильно. Знала, что полковнику первый кусок, что Тедди не ест жир, но ест, если не сказать ему, что это жир, что Джорджу всё равно, что есть, лишь бы много и быстро, и что Мод съест что угодно, если рядом лежит книга. И ещё знала, что поднос с чаем из классной возвращается на кухню пустой, до крошки. Так в этом доме не возвращался ни один поднос.

В среду, в одиннадцать, она стояла у плиты и мешала соус. Нэнси чистила серебро. Младшая, которая роняла подносы, сидела в судомойне над картошкой и, судя по тишине, картошку не чистила, а смотрела в окно.

— Миссис Гейдж, а правда, что мисс вчера выбила мастера Джорджа с одного мяча? — спросила Нэнси.

— С третьего.

— Молочник говорит, она мастеру Джорджу ведро на го-

лову надела.

— Молочник много чего говорит.

— Правда, что у неё в Лондоне жених?

— Кто сказал?

— Никто. Я так подумала. Она каждый вечер пишет.

— Матери.

— Каждый вечер — матери? — Нэнси даже перестала тереть ложку. — Про что можно каждый вечер писать матери?

— Про то же, про что ты каждый вечер болтаешь. Только складнее.

Нэнси обиделась, но ненадолго, потому что вопросов у неё было больше, чем обид.

— Можно мне сегодня на костёр? Все идут. Мисс поведёт детей, я слышала.

— Посуду перемоешь — пойдёшь.

— А если не успею?

— Значит, успеешь.

— Говорят, на неё в «Колоколе» ставят. На то, когда уедет.

— Глупости.

— Я бы поставила на Рождество.

— Тебе в «Колокол» нельзя.

— Через кого-нибудь можно, — сказала Нэнси и покраснела, хотя никакого «кого-нибудь» не называла.

Миссис Гейдж посолила соус.

В дверь чёрного хода постучали, и, не дожидаясь ответа, вошёл Берт.

В восемнадцать лет он уже работал на джемовой фабрике Олдриджа, при котле и при моторах. Котёл как раз оставили на чистку, и Берта отпустили до обеда. От него всегда пахло машинным маслом и немного клубникой, даже в ноябре. Руки он вытирал о штаны, хотя мать, сколько он себя помнил, учила вытирать их о тряпку. В руках у него был утюг.

— Починил! Задвижка теперь держит. Я пружину сменил. Смотри, мам, вот так...

— Положи на стол.

Берт положил утюг, но не ушёл. Показал, как держит задвижка, сначала матери, потом Нэнси, хотя та гладила реже всех в доме, и объяснил, почему ослабла старая пружина. Объяснение вышло длиннее пружины.

Миссис Гейдж налила чаю в Бертову кружку. Кружка стояла на верхней полке с тех пор, как Берт мальчишкой забегал к ней на кухню по субботам, когда приходил с отцом, и никто, кроме него, из неё не пил. Берт сел. Сахару положил три ложки. Она посмотрела на три ложки и посолила соус.

— У вас на фабрике правда мотор, как у паровоза? — спросила Нэнси.

— Как у паровоза — это котёл. А мотор — другое. Мотор — это когда... вот смотри.

Он стал объяснять ей мотор на пальцах, на ложках и на солонке, и солонка в этом моторе оказалась самой важной деталью. Нэнси слушала, приоткрыв рот, а недочищенная лож-

ка так и осталась у неё в кулаке.

— Скоро у Олдриджа будет грузовик. Свой. Тогда лошадей на фабрике вообще не надо будет.

Тут Хоскинс зашёл за чаем и застал как раз последние слова. Посмотрел на Берта, на солонку, на свою кружку: до неё у Нэнси сегодня руки не дошли.

— Лошадей...

Взял кружку, налил себе сам и ушёл пить чай на конюшню, к тем, кого ещё не отменили.

— Я же не про его лошадь.

— Ешь. — Мать поставила перед ним хлеб с сыром.

— Я ел.

— Ещё раз поешь.

Берт поел ещё раз. Потом рассказал, что купил в Хартфорде фейерверков на сегодня, для костра: мальчишкам младше тринадцати не продают, а ему продали и даже не спросили. Нэнси спросила, будут ли ракеты. Берт сказал, что будут две, и одна — его собственного изобретения, то есть обыкновенная, но он её усовершенствовал. Нэнси сказала, что тогда она, пожалуй, встанет подальше. Берт сказал, что подальше будет плохо видно. Нэнси сказала, что тогда, пожалуй, поближе.

Миссис Гейдж об этом ничего не думала.

Она стояла у плиты спиной к ним и мешала соус. Утюг чинится за десять минут. Берт сидел на кухне сорок. Часы ей были ни к чему: за двадцать один год она научилась узнавать

время по соусу. Она ничего не думала о том, что Берт, когда объясняет мотор, смотрит не на солонку. И о том, что Нэнси, которая перебивала на кухне всех, и её первую, ни разу не перебила Берта. И о том, что ей самой было восемнадцать в тот год, когда мистер Гейдж в первый раз принёс на кухню, где она тогда служила, починенный утюг, хотя утюг тот был вовсе не сломан. Ничего этого миссис Гейдж не думала. Она мешала соус.

Часы в холле пробили двенадцать, и Берт вскочил, сказал «мам», сказал «до вечера» Нэнси, сказал «до свидания» солонке, потому что всё ещё держал её в руке, поставил солонку на место и ушёл.

Нэнси вспомнила про ложку, дочистила её и положила к остальным.

— Хороший утюг.

— Иди гладь, раз хороший.

Нэнси пошла гладить.

Не успела за ней закрыться дверь, как в другую дверь, со стороны коридора, вошла гувернантка. На кухню она спустилась впервые. В руках у неё был плед, сложенный аккуратно, углом к углу, как складывают в лавке.

— Это, кажется, отсюда. Он пахнет луком. В первый вечер я уснула, а утром проснулась под ним. Я три недели не знала, кому его отдать. Нэнси говорит, что не она.

— Какой плед?

Гувернантка подержала плед на весу, чтобы его было луч-

ше видно.

— Этот.

— Это из бельевой. Положите на стул, мисс, Нэнси отнесёт.

— А кто же тогда?

— Нэнси, наверное.

Из гладильной донеслось «я?», но кухарка как раз открыла заслонку плиты, и ничего не стало слышно.

Гувернантка положила плед на стул, сказала «спасибо» неизвестно кому и ушла. Туфли у неё были те самые, со станции, и до сих пор не просохли, а на перчатке, которую она держала в руке, указательный палец был заштопан так мелко, что штопку разглядел бы только хороший глаз. У миссис Гейдж глаз был хороший.

* * *

К обеду наверх ушёл соус. Через полчаса Нэнси принесла посуду. Полковник, по её словам, говорил только о том, что к вечеру прояснится, а мисс сказала, что всё было вкусно.

Миссис Гейдж попробовала, что осталось на дне соусника.

Пересолила. Впервые за двадцать один год.

Гувернантка, выходит, либо вежливая не в меру, либо голодная не в меру. Миссис Гейдж решила, что и то и другое. На ужин положила ей на две картофелины больше, чем остальным, и сверху прикрыла так, чтобы никто, кроме самой кухарки, не сосчитал.

Костёр

Минтон-Кросс, луг за церковью. 5 ноября 1924 года

Костёр мальчишки складывали две недели. Тащили всё, что горит и что плохо лежит: сучья, ящики, старую калитку, половину курятника, хозяин которого узнал об этом только сегодня, и стул, про который никто не мог сказать, откуда он взялся. Чучело Гая Фокса они неделю возили в тачке по Хай-стрит и у каждой двери просили денег на Гая. К пятому ноября Гай успел побывать везде, где бывает приличный человек, и в нескольких местах, где не бывает. На нём было чьё-то старое пальто и чей-то котелок. Пальто и котелок все узнали, но никто не признал.

Теперь Гай сидел на самом верху, на стуле, и смотрел на Минтон-Кросс пуговицами вместо глаз.

Была среда, завтра детям в школу, но на луг за церковью пришли все. Полковник предсказал за обедом, что к вечеру прояснится, и прояснилось: небо было чистое и холодное, и звёзды стояли над колокольной так ясно, что Нора, у которой в Лондоне звёзд не было, сначала посмотрела на них, а уже потом на костёр.

Хоскинс привёз их на двуколке и остался у калитки кладбища, но встал так, чтобы ему было видно лучше, чем всем на лугу.

Детей было трое, рук у Норы было две. Тедди она держала

за руку, Мод держалась сама, а Джордж исчез, едва увидел мальчишек у костра, и Нора решила, что в этот вечер его можно считать за взрослого.

На неё смотрели. Она это видела так же ясно, как звёзды. Миссис Прюитт смотрела из-за стола, где продавали горячий чай. Мисс Тиббс смотрела на шляпку. Носильщик со станции, тот самый, что нёс её сундук, смотрел и что-то говорил двум мужчинам рядом, и до Норы долетело «шесть пенсов» и «до Рождества», и мужчины засмеялись. Что значат эти «шесть пенсов до Рождества», она не поняла. В Кентиш-Тауне тоже на всех смотрели, но там смотрели быстро, потому что впереди был следующий, а здесь следующего не было. Здесь была она.

— Это они на вас, — сказала Мод.

— Вижу. — Нора крепче взяла Тедди за руку.

— И на Гая. Но на вас больше.

Мод помолчала и посмотрела на Гая: тот сидел прямо, как сидят в гостях.

— Я про него всё читала. Про порох, и про подвал, и про то, как его поймали с фонарём. Всё, кроме одного.

— Чего?

— Когда.

— В тысяча шестьсот пятом.

Мод кивнула, будто сверилась с тетрадью и всё сошлось.

— Я знала. Я просто не думала, что это важно.

Костёр подожгли в семь. Сначала занялся низ, и долго ни-

чего не было, кроме дыма, и все кашляли и говорили, что в прошлом году было лучше. Потом огонь нашёл ящики, нашёл курятник, нашёл калитку и полез вверх так быстро, что первые ряды отступили на два шага, а мальчишки придвинулись на шаг вперёд. Гай загорелся с котелка.

— Горит! — закричали мальчишки. — Гай горит!

Кто-то захлопал, будто Гай удачно выступил. Тедди тоже захлопал, а потом спросил у Норы, больно ли Гаю, и Нора сказала, что он набит соломой и газетами, и Тедди спросил, какими газетами, и она ответила, что, наверное, вчерашними, и Тедди успокоился, потому что вчерашних газет ему было не жалко.

Потом начались фейерверки. Пускал их Берт Гейдж, сын кухарки, со стороны пруда, и Нэнси стояла к нему не далеко и не близко, а ровно так, чтобы было видно. Две огненные вертушки крутились на столбе. Римская свеча выпустила пять зелёных шаров и один синий. Потом Берт объявил, что сейчас будет его ракета, та самая, усовершенствованная, и поджёг.

Ракета ушла вверх, постояла в воздухе, подумала, повернула и пошла низко над лугом, прямо над головами, через ограду, на кладбище, где и упала в тис, шипя и разбрасывая искры. Все пригнулись. Потом все засмеялись. Викарий у ограды снял шляпу, посмотрел на тис и снова её надел.

Когда Нора выпрямилась, рука у неё была пустая.

Мод стояла рядом. Джордж был у костра: его было лучше

слышно, чем видно. Тедди не было.

Нора сказала Мод: «Стой здесь». Мод осталась. А Нора обошла костёр с одной стороны, потом с другой. Лица в свете огня были красные и одинаковые, и все на голову выше, чем нужно. Громко звать она не стала: тогда весь луг узнал бы, что новая гувернантка из «Холлиз» на третьей неделе потеряла ребёнка. Звала тихо, и от этого было только хуже. Письмо маме, которое придётся написать, если Тедди не найдётся, уже начиналось у неё в голове, и дальше «Дорогая мама» не шло.

Она нашла его у кладбищенской ограды.

Тедди сидел на каменной ограде, болтал ногами и ел печёную картофелину, чёрную снаружи. Рядом стоял высокий сутулый человек и держал его сзади за пальто, крепко и спокойно, а сам смотрел на костёр. Тот самый, с почты.

— Ваш?

— Мой.

Думал он так долго, что Нора успела отдышаться и заметить, что у Тедди развязался шнурок.

— Говорит, что ничей, — выговорил он наконец. — Что пошёл за ракетой.

— Я не потерялся, — сказал Тедди с набитым ртом. — Это вы потерялись.

Человек с почты отпустил пальто не сразу: сначала посмотрел, крепко ли Нора держит Тедди за руку.

— Сэм Прюитт. Я в школе учу. При церкви.

— Пенроуз.

— Я знаю.

Конечно, знал. Тут все знали. Нора уже собиралась уйти, но учитель, видимо, ещё не договорил, хотя по нему трудно было понять, договорил человек или только собирается.

— В субботу. Вам пришла бандероль. Из Лондона.

— Пришла.

— Обёртка с угла порвалась. — Он помолчал. — Я не читал. Только одно слово было видно.

— Какое?

— «Уильям».

Это был «Just William», подержанный. Нора в первом же письме попросила мать купить его у букиниста, потому что мальчику, который знает про крикет всё, а про книги ничего, нужно с чего-нибудь начать.

— И что вы подумали?

Он опять замолчал. Огонь трещал. Где-то за спиной Джордж кричал, что первым увидел, куда упала ракета. Нора ждала и не подсказывала, хотя конец фразы, кажется, был уже виден.

— Подумал, что для мальчика. Но первой прочтёте вы.

Нора засмеялась, хотя смеяться не собиралась. Вышло как с ракетой: подумала, повернула и пошла не туда.

— А вы его читали?

— Мне по должности положено. У меня в классе их четверо.

— Четверо кого?

— Уильямов.

Нора опять засмеялась и теперь даже не стала делать вид, что кашляет от дыма. Учитель подождал, пока она отсмеётся, и сказал, что читает эту книгу классу вслух.

Тедди доел картофелину и попросил ещё. Учитель объяснил, что картошку у костра пекут мальчишки из его класса, и пошёл к ним. Нора видела, как он идёт вдоль костра, высокий, медленный, и как мальчишки у огня перестают толкаться, когда он проходит мимо, а потом начинают снова. У стола с чаем миссис Прюитт смотрела на сына так же внимательно, как, наверное, смотрела на весы, когда взвешивала Норино письмо. Вернулся он с двумя картофелинами, одну отдал Тедди, а вторую подержал в руке, будто не знал, кому её отдать, и тоже отдал Тедди.

— Спасибо, — сказала Нора.

— Не за что, — ответил он и, помолчав, прибавил: — Мисс.

* * *

Домой ехали в темноте. Джордж пах дымом и всю дорогу объяснял Хоскинсу, как надо было пускать ракету. Хоскинс правил молча. Тедди уснул, едва сел, привалившись к Норе боком, и не выпускал из кулака недоеденную картофелину.

Мод сидела напротив, на другой скамейке, и смотрела на Нору.

— Вы смеялись, — сказала она.

— Разве?

— Два раза. Я считала.

Вполне удовлетворены

«Холлиз». Декабрь 1924 года

Письмо из лондонского агентства пришло во вторник, на той же серой бумаге, что и в сентябре. В сентябре агентство сообщало, что подобрало для миссис Хэтерли молодую особу «с хорошим образованием и скромными требованиями». Клара тогда трижды перечла «скромные требования» и покраснела одна в пустой комнате, хотя краснеть, если разобраться, следовало агентству.

Теперь агентство почтительно осведомлялось, вполне ли миссис Хэтерли удовлетворена мисс Пенроуз, и просило не замедлить с ответом.

Ответ Клара отложила до вечера. Днём было некогда, а главное, днём гувернантка была в доме и в любую минуту могла спуститься по лестнице. Писать о ней в такое время было всё равно что обсуждать человека, пока он стоит за дверью.

Вечером, когда детей уложили, Клара села в малой гостиной поближе к лампе, положила на колени хозяйственную книгу, чтобы было на чём писать, и начала.

«Мы более чем удовлетворены мисс Пенроуз, — писала она, — и, право, не знаю, с чего начать: дети к ней очень привязались, особенно младший, хотя он, разумеется, этого не скажет, а старшая дочь, которая прежде ничего не учила

по порядку, теперь знает, в каком году была битва при Гастингсе, и даже старший сын, который думает только о крикете... Впрочем, в крикет она тоже играет... и вообще мы все относимся к ней совершенно как к родственнице...»

Тут на лестнице послышались шаги. Гувернантка поднялась к себе со свечой и у приоткрытой двери остановилась.

— Спокойной ночи, миссис Хэтерли.

— Спокойной ночи. Да. Спокойной ночи.

Клара накрыла лист ладонью, как школьница, которую застали с запиской, и не убирала руку, пока шаги не стихли наверху. Чернила не успели высохнуть. На ладони осталось синее пятно, и потом она долго тёрла его носовым платком, а лист перечитала с начала и на родственнице остановилась.

О гувернантке так не пишут. В агентстве прочтут и решат, что в «Холлиз» не умеют себя держать с прислугой, а девушка даже не прислуга, и с ней тем более надо уметь. Или решат, что в «Холлиз» так одиноко, что там рады любой чужой девушке. А главное, в агентстве лежит в папке письмо, где сказано, сколько этой родственнице платят, и цифру Клара помнила наизусть. Да и родственнице, по крайней мере, топили бы в комнате.

Лист она рвать не стала: обратная сторона была чистая. Перевернула и убрала в книгу до завтра.

* * *

Во второй вечер Клара решила, что всё дело в длине. Длинное письмо выдаёт волнение, а волноваться миссис

Хэтерли из «Холлиз» было не о чем. Она написала: «Мисс Пенроуз исполняет свои обязанности удовлетворительно». И поставила точку.

Точка вышла жирная. Так пишут об угольщике. Или о лошади, которую продают, не очень на неё надеясь.

Хуже было другое. Агентства, как она слышала, своих девушек берегут, а хороших особенно. Получат «удовлетворительно» и решат, что девушку здесь не ценят, и предложат ей место у людей, которые пишут письма потеплее. Получат «как к родственнице» и решат, что девушка хороша сверх ожиданий, и опять-таки предложат ей место получше, где ей и платить будут по заслугам. Выходило, что потерять её можно и тем письмом, и этим, и Клара просидела над обоими, пока у лампы не закоптил фитиль.

Можно было спросить полковника. Она дошла до двери кабинета, послушала, как там скрипит перо и потрескивает огонь, единственный в доме, который никуда не кочевал, и вернулась к себе.

Дверь малой гостиной приоткрылась. На пороге стоял Тедди в ночной рубашке и босиком, с тем лицом, с каким дети приходят пожаловаться, что не спится, а на самом деле посмотреть, чем заняты взрослые, когда детей нет.

— Ты кому пишешь?

— Тедди, ты почему не спишь? В Лондон. В агентство. Спрашивают, хорошая ли у нас мисс Пенроуз. Иди спать, полуданной, ты простудишься, и тогда...

Тедди переступил с одной босой ноги на другую.

— А если плохая, её заберут?

— Никто её не... Это просто вежливость. Так принято.

— Тогда напиши, что плохая. Плохую никто не заберёт.

И ушёл, не дожидаясь ответа, потому что никакого ответа и не ждал. Клара посидела, глядя на дверь. Потом ещё раз прочла «удовлетворительно» и закрыла чернильницу.

* * *

На третий вечер она написала пять строк.

Писала медленно, по слову, и после каждого прилагательного проверяла, не слишком ли оно тёплое. «Прекрасные» успехи стали «заметными», «заметные» — просто успехами. «Милая» девушка в письмо не попала совсем. Пунктуальна — это можно: пунктуальность прилично хвалить в ком угодно, хоть в поезде. Здорова — тоже можно, агентства всегда спрашивают о здоровье. Про суп, крикет и битву при Гастингсе — ни слова.

Через полтора года ей придётся писать о гувернантке ещё раз, в то же агентство, и тогда мешать будет совсем другое. Но в декабре двадцать четвёртого года Клара этого не знала и промучилась над пятью строками до половины одиннадцатого, как над счётом угольщика.

Подписалась она «К. Хэтерли», так же, как подписывала письма портнихе и в банк. Поставила число. Сложила лист и взяла конверт.

Потом вынула письмо из конверта, обмакнула перо и при-

писала внизу ещё одну строчку. Перечитывать не стала: перечитала бы — вычеркнула.

Ответ

«Холлиз». Декабрь 1924 года

«Холлиз», Минтон-Кросс, Хартфордшир

4 декабря 1924 года

Сударыня,

в ответ на Ваше письмо от 1 декабря сообщаю, что мы вполне удовлетворены мисс Пенроуз.

Дети делают успехи.

Мисс Пенроуз пунктуальна и аккуратна.

Насколько я могу судить, она здорова.

Менять условия, о которых мы договорились в сентябре, я необходимости не вижу.

С уважением

К. Хэтерли

Р. S. Младший сын просит передать, что мисс Пенроуз он никому не отдаст.

Базар

Приходской зал. Декабрь 1924 года

Рождественский базар в приходском зале устраивали каждый год в последнюю субботу перед Рождеством, и каждый год в одном зале шли два базара, хотя на афише у дверей значился один.

Первый помещался у стены, под окнами. На столах лежали вышитые салфетки, вязаные грелки для чайников, перочистки, мешочки с лавандой и детские распашонки, сшитые так мелко, что надевать их на ребёнка было жалко. Это называлось распродажей рукоделия: прихожанки приносили сюда то, что сделали своими руками. Второй базар занимал середину зала, сцену и всё, что оставалось. Там стояли три прилавка «Ред-Холла»: со сладостями, с игрушками и с джемом «Олдридж» в банках под бумажными колпачками с красной ленточкой. На сцене четверо музыкантов из Хартфорда играли так громко, будто их наняли перекрикивать покупателей. Это и называлось базаром.

Между двумя базарами ходил весь Минтон-Кросс и покупал понемногу и там и тут, чтобы никого не обидеть. Миссис Прюитт купила у стены прихватку, а в середине банку джема. Мясник Пайк взял вязаную грелку для чайника, хотя чай пил редко и только из блюда. Доббс пришёл после смены, обошёл зал два раза, ничего не купил и объявил, что

в прошлом году было богаче. Объявлял он так каждый год, и каждый год с ним соглашались.

Клара стояла у стены.

Прилавок у неё был небольшой, зато всё на нём она сделала сама, а чего не сделала, того было не жалко. Шесть салфеток, вышитых вечерами при лампе на полфитиля, отчего у одной ромашки вышло девять лепестков, а у соседней одиннадцать. Мешочки с лавандой: лаванды в «Холлиз» хватило бы на весь приход, её годами клали в ящики под чехлами и никогда оттуда не доставали. Грелка для чайника из тёмно-красного бархата. И две фарфоровые пастушки, которые стояли на камине в гостевой спальне, под чехлом, с тех пор как гостей в «Холлиз» перестали звать. Пастушек никто не видел три года, а раз так, никто и не хватится, если только какая-нибудь давняя гостья не узнает их на прилавке.

Бархат на грелку пошёл с той же портьеры, с которой осенью Клара отпорола бахрому на шляпку. Шляпку с бахромой она сегодня оставила дома и надела серую, позапрошлогдную. Грелку положила с краю, подальше от мисс Тиббс: та торговала шляпками через два стола и замечала всё, что пришито.

К двенадцати у Клары купили три салфетки и все мешочки с лавандой. К часу пришла Лилиан Олдридж.

Ходила она по залу так, как хозяйка ходит по собственному дому за час до гостей: всё видела, всё поправляла на ходу и со всеми здоровалась по имени. У Клариного стола она

остановилась и сложила руки в перчатках.

— Дорогая Клара! Какая прелесть! Это вы сами? Ну конечно сами, кто ещё так вышивает. Вы не замёрзли тут у окна? Замёрзли, я же вижу. Давайте я велю перенести ваш стол к нам, в середину. Там печка, там музыка, и вас наконец будет видно.

— Спасибо, Лилиан, мне здесь... здесь светлее, а для вышивки нужен свет, покупательница должна видеть стежок, а там, у печки, я не говорю, что там плохо, но там...

— Там Гарольд. — Лилиан засмеялась. — Понимаю.

Она взяла салфетку, нашла ромашку с одиннадцатью лепестками, промолчала и положила салфетку на место. Потом увидела брошь.

Брошь была маленькая, золотая, с тремя гранатами и жемчужиной посередине. Клара надевала её по воскресеньям, на базар и на похороны.

— Какая брошь! Старинная?

— Мамина.

Лилиан подождала, не скажет ли Клара ещё что-нибудь: откуда, сколько лет, что за камни. Клара больше ничего не сказала.

— Мамина, — повторила Лилиан. — Как мило. А у меня всё новое. Гарольд не любит вещей, которые у кого-то уже были. — Она помолчала и засмеялась. — Кроме домов, конечно.

«Ред-Холл» Олдриджи купили в десятом году у старой се-

мьи, которая разорилась, и Минтон-Кросс до сих пор считал дом чужим, а Олдриджей новыми. Лилиан это, кажется, знала. И смеялась первой, чтобы никто не успел раньше неё.

Около двух к столу подошла мисс Пенроуз с Тедди. Тедди держал в кулаке пенни, которое ему дал Гарольд Олдридж, и никак не мог решить, на что его потратить. Время от времени он разжимал кулак и проверял, на месте ли оно.

— Может быть, вы пойдёте выпить чаю, миссис Хэтерли? Я постою.

— Нет, что вы, я... то есть спасибо, но гувернантка за прилавком... Я не хочу сказать, что это неприлично, но в приходе могут подумать...

— Что подумать?

Клара не знала что. Хуже всего было как раз это.

Пока она думала, к столу подошла миссис Прюитт, взяла салфетку с одиннадцатью лепестками и стала их считать, шевеля губами. Клара собралась объяснить про лампу и про фитиль, но девушка успела раньше:

— Это ручная работа. На машине лепестки выходят все одинаковые.

Почтмейстерша досчитала до одиннадцати, кивнула, как кивала над весами, когда письмо тянуло ровно на полтора пенса, и купила обе салфетки, с девятью лепестками и с одиннадцатью, чтобы дома сравнить. Тедди тем временем решил насчёт пенни: он купит булку лошади. Лошадь с утра стояла у ворот, и никто её ещё ничем не угостил.

В четыре часа музыканты ушли за сцену пить чай, и в зале стало слышно, как звенят монеты. На Кларином столе к тому времени лежали одна салфетка, грелка и обе пастушки.

— Гарольд! — позвала Лилиан через весь зал. — Гарольд, иди сюда.

Он подошёл, на ходу пересчитывая выручку с джемового прилавка. Он председательствовал во всех комитетах прихода, кроме дамских, а в дамские заходил так, будто проверял, всё ли там исправно.

— Купи у миссис Хэтерли всё, что осталось. На крышу.

— На крышу! — Слышно было даже у дверей, где стоял викарий. — Сколько, миссис Хэтерли? Нет, не говорите. Вот. Сдачи не надо.

Отказаться было нельзя. Деньги шли на церковную крышу, а отказываться от денег на церковную крышу Клара не умела. Никто в Минтон-Кроссе не умел, на этом крыша и держалась.

Викарий у дверей заметил, кивнул и сказал «мистер Олдридж, вы, как всегда...», а дальше его заглушил оркестр, который как раз допил чай. Гарольд просиял. Пастушки ушли в корзину шофёра, а с ними салфетка и грелка.

Грелку Лилиан взяла в руки последней.

— Какой бархат! Где-то я такой уже видела.

— Это самый обычный бархат. Его везде...

Но та уже отдавала грелку шофёру.

Домой ехали в сумерках. Клара всю дорогу сидела в двухколке прямо и перебирала в уме список. Список с утра стал длиннее на две строчки: две пастушки из гостевой спальни будут теперь стоять в «Ред-Холле», на камине у Лилиан, а может быть, и в гостиной, где бывает весь приход и каждый, кто когда-то гостил в «Холлиз», может их узнать. А грелку, в этом Клара не сомневалась, Лилиан поставит на чайник при гостях.

* * *

Мод и Сильвия ушли за сцену ещё в два, когда стало ясно, что взрослые заняты, а гувернантку держит Тедди.

За сценой пахло нафталином и пылью. Там хранилось всё, что приход надевал на себя раз в году: картонные короны волхвов, крылья ангелов на проволоке, голову осла из папье-маше, которую в прошлом году носил сын мясника и в ней же уснул. Сильвия принесла с маминого прилавка двух сахарных мышей, и девочки ели их с хвоста, сидя на сундуке с костюмами.

Сильвии было десять, и говорила она за двоих.

— Правда, что она выбила Джорджа?

— С третьего мяча.

— А правда, что у неё в Лондоне жених?

— Нет.

— Откуда ты знаешь?

— Она каждый вечер пишет маме. Жениху столько не пишут. Жениху пишут раз в неделю, и коротко. Я про это чи-

тала.

Сильвия поверила сразу: Мод читала всё.

— Мама говорит, твоя мама очень гордая.

— Почему?

— Не знаю. Мама всегда так говорит, когда кто-нибудь отказывается от нашей машины.

Мод доела мышь до ушей и решила, что разберётся с этим потом, когда будет время.

В занавесе была щель, и через неё виднелся весь зал. Мама стояла у стены за пустым столом так, как стоят на станции, когда поезд уже ушёл. Мистер Олдридж убирал бумажник. У прилавка со сладостями мисс Пенроуз держала Тедди за руку, а Джордж просил у неё пенни, обещая отдать с процентами. Мисс Тиббс через два стола от мамы продавала шляпку с вишнями жене мясника и при этом смотрела не на жену мясника, а на зелёную шляпку гувернантки. Смотрела так, как Мод смотрела на латинские таблицы, когда искала ошибку, а ошибки не находилось.

В окно за сценой были видны ворота. Там Хоскинс держал лошадь, а мальчишки, получившие по пенни из «Ред-Холла», покупали у прилавка «Ред-Холла» булки и скармливали ей одну за другой. К трём часам лошадь съела шесть булок, и из всех покупателей «Ред-Холла» самой верной оказалась она.

Занавес отодвинулся, и вошёл Филип.

Филипу было четырнадцать, он приехал из школы на ка-

никулы и за осень вырос на полголовы. Теперь он смотрел на всех снисходительно. Слово это Мод знала из книг и понимала буквально: Филип на всех нисходил — смотрел с высоты, сверху вниз, и с непривычки, кажется, сам немного боялся упасть.

— Вот вы где. Мама велела вас найти. Там фотограф из Хартфорда, снимает для газеты.

— Не пойду, — сказала Сильвия.

Филип посмотрел на голову осла, потом на книгу, которую Мод держала на коленях.

— Опять читаешь. Мама говорит, ты прочла всю библиотеку в «Холлиз».

— Не всю.

— Девочкам столько читать вредно. И латынь девочкам ни к чему, у нас в школе все так говорят.

— А мальчикам?

— У нас её восемь уроков в неделю. И всё равно никто ничего не знает.

Мод откусила у сахарной мыши голову.

— Вот видишь. Мальчикам тоже ни к чему.

Кентиш-Таун

Лондон, Кентиш-Таун. Декабрь 1924 года

Билет до Кингс-Кросс стоил три шиллинга девять пенсов: полтора пенса за милю, а миль тридцать. Нора сосчитала ещё у кассы, потом в купе, потом посмотрела в окно, где ничего не было, кроме тумана, и сосчитала в другую сторону. Туда и обратно — семь шиллингов шесть пенсов. Столько стоил новый роман в твёрдом переплёте. Новых романов она не покупала никогда, так что к маме на Рождество она ехала на один роман.

Сундук она отправила вперёд ещё в понедельник: сдала на станции с ярлыком, и железная дорога обещала доставить его прямо в Кентиш-Таун. Сундук был почти пустой, и Доббс поднял его один, без её помощи, и посмотрел на неё так, будто пустой сундук что-нибудь значил. В Минтон-Кроссе всё что-нибудь значило.

В декабре над Лондоном то и дело стоял туман. Мама писала, что девятого числа поезда в нём еле ползли и опаздывали и что если к Рождеству туман не разойдётся, лучше не ехать, а то мало ли. «Мало ли» у мамы значило всё сразу: крушение, простуду, потерянный кошелек и чужих людей в купе. Нора поехала. Поезд шёл так, будто нащупывал рельсы, а под самым Лондоном пополз совсем.

Всю дорогу она решала, что расскажет. Что дом большой.

Это правда. Что дети хорошие — тоже правда, хотя младший при первой встрече назначил ей срок. Что кормят хорошо — почти правда: кормили хорошо, только жидко. Про комнаты в чехлах, про холодную до ноября классную и про полковника, который выходит из кабинета к обеду и разговаривает с погодой, она рассказывать не станет. Мама начнёт жалеть. Сначала Нору, потом миссис Хэтерли, потом полковника, и к ночи дожалеется до того, что захочет послать в «Холлиз» пирог.

Получился целый список того, о чём мама не должна узнать.

* * *

Под сводами Кингс-Кросс туман был жёлтый, и фонари горели в три часа дня. До Кентиш-Тауна она ехала трамваем, у окна, с сумкой на коленях и руками на сумке. В сумке лежал конверт.

Трамвай звенел, кондуктор выкрикивал остановки, люди входили и выходили, не глядя друг на друга, и никто не смотрел на Нору. Два месяца назад она бы этого и не заметила. Теперь заметила, а через две остановки поймала себя на том, что сама разглядывает чужие шляпки: эта перешита, у этой лента новая, а сама шляпка помнит войну. Так смотрела мисс Тиббс. Нора отвернулась к окну.

На углу её улицы мальчишки играли в крикет. Калиткой служил фонарный столб, мяч был теннисный, лысый, а подавала девочка лет девяти, в материнской кофте до колен. По-

давала она плохо: держала мяч всей ладонью, как яблоко, и мяч уходил в сторону. Нора прошла мимо. Потом вернулась.

— Два пальца сверху. Большой снизу.

Девочка посмотрела на неё снизу вверх, сложила пальцы, подала, и мяч попал в столб. Мальчишка с битой посмотрел на Нору как на предательницу.

Дальше она шла быстро, а пальцы в кармане пальто сами собой сложились как надо: два сверху, большой снизу.

* * *

Мама жила на втором этаже, в двух комнатах с окном во двор. Окно было то самое: бельё на верёвке, кошка на заборе, только бельё зимнее и кошка другая.

Мама сидела у окна и шила. Свет уходил, лампа не горела, и мама держала работу у самого стекла.

— Пришла.

Встать она не встала: на коленях у неё лежало чужое платье, а с чужим платьем на коленях не встают. Нора наклонилась и поцеловала её в макушку. Пахло от мамы, как всегда, мелом для разметки и мятными лепёшками.

— Сундук утром привезли. Я на него салфетку постелила. А то стоял посреди комнаты, как гость, которому не предложили сесть.

Теперь он стоял у стены, под салфеткой, а на салфетке — вазочка с бумажными цветами. В первый раз в жизни сундук выглядел как мебель.

Платье на коленях было свадебное, для дочери булочни-

ка с угла, к январю. Мама сразу стала рассказывать, какое оно: дочь булочника хотела подол до середины икры, как в журнале, мама предлагала до щиколотки, как в церковь положено, сошлись посередине, и теперь мама боялась, что в церкви ей будет стыдно за свою работу.

— В церковь! Ноги напоказ! А отец у неё стоит у прилавка с таким лицом, будто это он платит.

— Он и платит.

— Вот я и говорю.

Нора рассказала про дом. Дом большой. Дети хорошие. Младший говорит всё, что думает.

— Кормят?

— Кормят.

— Топят?

— Топят.

— Комната своя?

— Своя.

— С камином?

— С окном.

Мама оторвалась от подола и посмотрела на неё поверх работы. Тридцать лет шила на заказ и по шву умела узнать, торопилась мастерица или нет. Нора стала разматывать шарф.

— А полковник какой?

— Высокий.

— Все полковники высокие. Заказчицы спросят. Соседка

снизу спросит первая: у неё дочь гувернанткой под Брайтоном, в доме у судьи, и платят там, говорит, столько, что она каждый месяц присылает матери...

— Мам.

— Я ничего. Я только говорю, что бывают дома, где платят.

— Здесь платят.

— Разве я говорю, что нет? — Мама перекусила нитку.

— Хорошее место — это где платят и не гонят. А остальное уж как повезёт.

Она помолчала и спросила, не поднимая глаз от подола, есть ли там, в этом Мinton-Кроссе, кто-нибудь молодой. Для разговора. В церкви, например.

— Нет, — сказала Нора. И через минуту зачем-то прибавила: — Есть учитель в школе. У него в классе четыре Уильяма.

Мама подняла глаза.

— Это я к слову.

На полке над комодом всё стояло на старых местах. Папины часы, железнодорожные, на цепочке. Мама заводила их каждый вечер перед сном. Шли они на четыре минуты вперёд с тех пор, как папа сам их так поставил, чтобы не опаздывать в контору, и переводить их потом никто не стал. Рядом стояла книга в синем переплёте с золотым тиснением. На форзаце — школьная наклейка и надпись чернилами: «Норе Пенроуз за отличные успехи. Июль 1918 года». Папа

на вручении сидел в третьем ряду и хлопал дольше всех. К зиме его не стало.

Книга стояла корешком наружу, чтобы её видели заказчицы. Нора повернула её корешком к стене.

Мама промолчала. Поворачивать книгу назад она будет, когда Нора уедет. Так было и в прошлый раз.

* * *

Конверт Нора положила на стол, между катушками.

В конверте было всё, что ей заплатили в «Холлиз», кроме билета. Мама пересчитала деньги, не вынимая из конверта, на ощупь, как считает мелочь кондуктор, и разложила на три кучки. Это за квартиру. Это угольщику. А это — она подвинула третью кучку Норе.

— Это тебе.

— Мне не нужно.

— На перчатки.

Мама смотрела на её руку. На указательном пальце перчатки — штопка, мелкая: на неё ушёл целый вечер. Нора убрала руку в карман. Поздно: штопку мама разглядела бы и в темноте, и с другого конца улицы.

— Мне не нужно, — повторила Нора. — Там у меня всё есть.

Третья кучка так и осталась лежать посреди стола. Брать её первой не хотела ни одна.

Совсем стемнело. Мама подняла иголку к окну, к последнему свету, и стала вдевать нитку. Не попала. Попробовала

ещё раз.

— Дай я.

— Сама.

Нора смотрела, как кончик нитки ходит вокруг ушка и не входит. Раньше мама вдевала нитку не глядя, в разговоре, в потёмках, одной рукой.

— Тебе нужны очки.

— Очки стоят денег.

— Всё стоит денег.

— Колледж тоже стоил, — сказала мама и попала в ушко.

Нора встала и зажгла лампу. Первая спичка сломалась, вторая загорелась.

— Рано ещё, — сказала мама.

Нора выкрутила фитиль до конца.

Ужинали за тем же столом, сдвинув катушки на край. Чай, хлеб и кусок сыра, который мама купила к её приезду и всё время подвигала Норе. Нора подвигала сыр назад, маме. Сыр ездил по клеёнке туда и сюда, пока мама не взяла нож и не разрежала его ровно пополам, как кроют на двоих один отрез.

* * *

Стул напротив маминого, у того же окна, был Норин. Шесть лет после школы она просидела на нём: подрубала подолы, пришивала пуговицы, обмётывала петли и первые два года считала, сколько петель нужно обметать на учительский колледж. Петель выходило больше, чем пуговиц во всём Кен-тиш-Тауне. На третий год считать она бросила, а шить про-

должала. На шестой увидела в газете объявление агентства.

Почему она уехала, Нора объясняла так: в «Холлиз» кормят и дают комнату, и всё жалование можно отдавать маме. Так оно и было, и маме этого хватало. Вторую причину вслух она не называла. Лет через двадцать на этом стуле, у последнего света, мимо ушка промахивалась бы уже она. Теперь у неё была классная с картой, где ещё не кончилась Австро-Венгрия, и девочка, которая учила латынь из соседней таблицы, и что с этой девочкой делать, Нора пока не знала. Знала только, что делать будет она сама.

Под кроватью стояла коробка со школьными книгами. Мама ничего не выбросила: грамматику Кеннеди, хрестоматию, задачник с ответами, вписанными на полях карандашом. Нора вытащила коробку и стала перекладывать книги в сундук, на дно, под летнее платье.

— Опять книги, — сказала мама. — Сундук не закроется.

— Закроется.

— А кто его потащит?

— Носильщик.

— Бедный носильщик.

Мама снова наклонилась к подолу. Лампа горела ровно, и мамина тень лежала на чужом свадебном платье, как ещё одна заплатка.

— Это место у тебя надолго?

Нора опустила крышку сундука. Крышка закрылась не сразу, пришлось сесть сверху.

— Посмотрим.

— Ты так в четыре года отвечала, — сказала мама, не поднимая головы. — Когда тебя спрашивали, будешь ли ты спать.

Один гимн

«Холлиз». 25 декабря 1924 года

Рождество в «Холлиз» шло по порядку, и порядок этот Мод могла бы записать заранее и не ошибиться ни в одном пункте. Утром церковь, где викарий читал ту же проповедь, что и в прошлом году, только начинал с другого конца. Потом подарки в малой гостиной. Потом обед, к которому миссис Гейдж готовила так, будто денег в доме вдвое больше, чем на самом деле. Потом мама открывала пианино. Потом папа выходил из кабинета на один гимн. Потом все расходились, и Тедди тошнило от орехов.

Так всё и вышло. Викарий в самом деле начал проповедь с волхвов и кончил пастухами, а в прошлом году было наоборот. Мод сверила по памяти: ни одного нового слова, только порядок другой. Не хватало в этом году одного пункта, которого раньше в списке и не было: уроков.

Мисс Пенроуз уехала к матери двадцать третьего и обещала вернуться в субботу после Нового года. Классную без неё не топили. Утром, до церкви, Мод всё-таки поднялась туда в пальто, села за стол и сделала два упражнения из си-ней тетради, а потом третье, которого ей никто не задавал. Чернила загустели от холода, и перо царапало.

Потом она достала из-под матраса справочник по болезням лошадей, тот, что взяла у Хоскинса и не вернула, и на-

шла нужную страницу. Лошадь, которую долго не запрягают, писал справочник, делается вялой, теряет аппетит и грызёт кормушку. Аппетит у Мод был. Стол она не грызла. Не то.

Что тогда, справочник не говорил: он был про лошадей.

Она захлопнула справочник и решила, что скучать по урокам было бы глупо. Уроки у неё были с октября, всего два месяца, а до того двенадцать лет прекрасно обходилась без настоящих уроков. Значит, она и не скучала. До субботы после Нового года оставалось девять дней.

* * *

Подарки разбирали в малой гостиной, у огня.

Из «Ред-Холла» шофёр ещё накануне привёз свёртки в серебряной бумаге, перевязанные красной лентой, точь-в-точь как банки с джемом. Тедди достался сборник стихов, новый, этой осени, который в тот год дарили к Рождеству чуть ли не всем детям подряд. Читать Тедди ещё не умел, но, когда Мод прочла ему одно стихотворение, объявил, что книжка про него, раз там медведь, которого зовут так же. Олдриджи прислали Джорджу ножик с тремя лезвиями. Мод — коробку лент для волос от Сильвии. Одну ленту она тут же заложила в «Айвенго», остальные убрала.

Мама подарила Мод перчатки, которые связала сама, вечерами. Пальцы у перчаток вышли разной длины, зато перчатки были тёплые. Джорджу — новый крикетный мяч, тяжёлый и красный, и Джордж тут же отправился с ним в холл, проверить, как мяч отскакивает от пола. Тедди — коробку

красок.

Мяч отскакивал хорошо. На четвёртый раз он отскочил выше, чем Джордж рассчитывал, и ударил в потолок над лестницей, в самую середину пятна. С потолка посыпалась белая крошка. Мама вышла в холл, подняла голову и долго её не опускала, а потом сказала «Джордж» так тихо, что Джордж сам отдал ей мяч. Нэнси вымела крошку до обеда. Пятно стало чуть больше, но этого, кроме мамы и Мод, никто не заметил.

Подарки в «Холлиз» всегда выбирала мама, а папа их только подписывал. Но в этом году один свёрток папа принёс сам, из кабинета, в коричневой бумаге с ярлыком лондонского книжного магазина, и сам положил Мод на колени.

В свёртке оказалась книга с длинным названием и восклицательным знаком на конце. На обложке четверо юношей в мантиях стояли на фоне башен, а внизу мелко напечатано: «Повесть о жизни оксфордского колледжа. Для мальчиков от двенадцати лет».

Нижнюю строчку Мод прочла ещё раз.

— Мне кажется... — начала мама. — Или это скорее для Джорджа? Джордж, конечно, читает мало, но если подумать...

— Для Мод, — сказал полковник.

И ушёл к себе. Мама посмотрела ему вслед с таким лицом, будто он сказал за обедом что-то о выборах, и стала собирать серебряную бумагу, чтобы сложить на будущий год.

За обедом полковник сидел во главе стола, как всегда, и говорил, как всегда, о погоде. Но за сладким Джордж спросил:

— Папа. А в первую команду берут с первого года?

— Не берут.

Джордж опустил ложку. Полковник отрезал себе сыра.

— Меня взяли со второго.

Больше он ничего не прибавил, но Джордж до конца обеда сидел так прямо, будто его уже взяли. Мод доела сладкое и сосчитала: папа сказал Джорджу четыре слова, не считая «не берут». Ей за весь день — два. Зато книгу.

* * *

После чая в гостиной развели огонь.

Раз в году в «Холлиз» топили третий камин, и этот камин стоил маме всей осени: она начинала откладывать на него уголь в ноябре, по ведру, так что третий огонь, если сосчитать, складывался из двух первых.

Пианино приехало в «Холлиз» вместе с мамой, в десятом году, когда мама вышла замуж. Весь год оно стояло закрытое, под вязаной дорожкой, а на Рождество мама снимала дорожку, вытирала клавиши носовым платком, садилась и играла гимны. Играла она хорошо, только немного позже, чем гимны пели в церкви. Каждую следующую ноту мама брала так, будто сначала проверяла, точно ли это она.

Тедди сел на ковёр у самой педали. Джордж стоял у окна и, шевеля губами, вспоминал составы прошлогодних матчей

графства. В дверях стояли миссис Гейдж и Нэнси: на Рождество кухне разрешалось слушать. Кухарка сложила руки на переднике, Нэнси подпевала, не зная слов.

Первый гимн. Второй.

На третьем открылась дверь кабинета.

Полковник прошёл через холл, остановился в дверях гостиной, рядом с кухаркой, и запел. Пел он басом и чуть раньше, чем мама играла. Мама играла чуть позже, чем он пел. Где-то посередине между ними, если не придирааться, и выходил гимн.

Он пропел все куплеты. Мама сняла руки с клавиш. Полковник посмотрел в окно, за которым было темно и мутно.

— К ночи туман.

Он уже повернулся уходить, когда Тедди спросил с ковра:

— Папа, а на будущее Рождество ты тоже выйдешь?

Нэнси перестала подпевать.

Полковник постоял в дверях.

— Если не будет сыро, — сказал он и ушёл в кабинет.

Мама сыграла ещё два гимна, уже для одной кухни, закрыла крышку и постелила сверху дорожку, до будущего года. Лёг ли к ночи туман, Мод так и не посмотрела.

* * *

Книгу Мод начала читать в постели, при свече. Свечу она унесла из столовой, огарок длиной в палец, и рассчитала, что его хватит часа на два, если не тратить свет на то, чтобы смотреть по сторонам.

Повесть оказалась про мальчика из семьи сельского священника. У мальчика не было денег, зато были способности, и он поступал в оксфордский колледж на стипендию. Что такое стипендия, повесть объясняла прямо на четвёртой странице: за мальчика платил колледж, потому что мальчик лучше всех сдал экзамен. Мод перечла это место два раза. Потом мальчик грёб в лодке, ссорился с другом, мирился с другом, писал латинские стихи, которые все хвалили, и спасал из реки собаку декана.

Латинские стихи в книге не приводились. Мод проверила. Это показалось ей подозрительным.

Девочки в повести появлялись один раз: сёстры героя приезжали на лодочные гонки в белых платьях и махали ему с берега платками. Мод прочла и решила, что махать с берега не станет.

Огарка хватило до середины предпоследней главы. Остальное она дочитала у окна, когда рассвело, в маминых новых перчатках, потому что в комнате к утру было холодно. Мальчик, разумеется, получил награду. Ясно было ещё с четвёртой страницы.

Мод закрыла книгу и открыла синюю тетрадь на последней странице. С октября она записывала туда даты, по одной, когда узнавала новую. Гастингс — 1066. Пороховой заговор — 1605. Ганнибал — до Цезаря, без числа, но мисс Пенроуз обещала.

Мальчику в книге, когда он поступал, было восемнадцать.

Мод было двенадцать. Она посчитала на пальцах в маминой перчатке, где один палец был длиннее остальных, и записала внизу, под Ганнибалом:

«Оксфорд — 1930».

Такой даты, которая ещё не случилась, в тетради до сих пор не было. Мод посмотрела на запись и поставила рядом вопросительный знак. Потом стёрла его. Карандаш стирался плохо, и знак всё равно остался, только бледнее.

Вернулась

Станция — Хай-стрит. Декабрь 1924 — январь 1925 года

Двадцать второго декабря, в понедельник, Доббс принял у гувернантки из «Холлиз» сундук. Сдала она его заранее, с ярлыком на Кентиш-Таун, а сама уехала на завтра, налегке. В тот же вечер в «Колоколе» чуть не открыли жестянку.

У Пайка в жестянке лежало двадцатое декабря, у кого-то с фабрики — двадцать четвёртое, у Нэнси из «Холлиз», через кого-то, кого она так и не назвала, — Рождество. Все трое считали, что выиграли, и полвечера спорили, кто больше. Доббс выслушал всех, достал жестянку, подержал на ладони и спрятал во внутренний карман.

— Уехала — это когда не вернулась. А пока это сундук.

— Сундук-то уехал!

— Пустой. С пустым сундуком насовсем не уезжают. На-совсем уезжают с полным.

В октябре, когда сундук был полный, Доббс говорил ровно противоположное, и кто-то в зале ему это припомнил. Он ответил, что тогда был октябрь. Все согласились, что это разные вещи.

Сам он поставил на второе февраля, и, если бы гувернантка не вернулась, второе февраля пропало бы вместе с ней, а жестянка ушла бы парню с фабрики, у которого стояло два-

дцать четвёртое. Так что держался Доббс за правило не только из любви к правилам. Но и из любви тоже: правило он придумал сам.

* * *

Третьего января, в субботу, лондонский поезд пришёл вовремя. На памяти Доббса такого давно не случалось, и он даже сверил часы.

Ещё удивительнее было другое. У ворот станции стояла двуколка из «Холлиз», а при ней Хоскинс. В первый раз за все годы, что Доббс помнил гувернанток, Хоскинс приехал встречать.

— Лошадь здорова? — спросил Доббс.

— Здорова.

— А спина?

— Велели.

С людьми Хоскинс разговаривал, только когда они стояли рядом с лошадыю. Доббс стоял рядом с лошадыю, и Хоскинс сказал ему целых два слова, а это для января было много.

Гувернантка вышла из третьего класса в той же зелёной шляпке, а из соседнего купе, первого класса, — викарий. Он ездил после Рождества на неделю в Лондон, к сестре, и назад, как выяснилось, всю дорогу ехал через стенку от гувернантки и не знал.

Сундук Доббс вынул из багажного вагона сам и сразу понял, что дело плохо. Тяжелее, чем в октябре. Не намного. На мешок угля, не больше.

— Книги, — сказал Доббс, ни к кому не обращаясь.

— Книги, — подтвердила она и взялась за вторую ручку.

Тут подошёл викарий и сказал, что не может позволить, а Хоскинс от ворот сказал «спина». Так и вышло, что один сундук через перрон несли трое, а четвёртый командовал. За ручки взялись Доббс и она, викарий — снизу, за угол, отчего мешал больше всех, а Хоскинс кричал от двуколки «левее». У двуколки сундук поставили на землю, и викарий выпрямился с таким видом, будто сам донёс его из Лондона.

Она поблагодарила всех. Доббсу дала на чай. Он взял: что положено, то положено. Но жестянка в кармане у него при этом звякнула, и гувернантка посмотрела на карман.

— Это ведь вы говорили на костре «шесть пенсов до Рождества»?

Доббс снял фуражку, хотя было холодно, и надел снова.

— Это я про билеты, мисс. Про железнодорожные. До Рождества, говорю, дешевле.

— А после?

— А после — как положено.

Она кивнула, будто такой ответ её устраивал, и села в двуколку. Хоскинс тронул. Доббс стоял у ворот, пока двуколка не скрылась за поворотом, и думал, что врать он, оказывается, не умеет совсем, а за пятьдесят четыре года мог бы и научиться.

* * *

Викарий в тот день впервые в жизни узнал новость пер-

ВЫМ.

Со станции он пошёл не домой, а на почту, за марками, которые ему были не нужны, потому что дома лежала целая книжечка. В субботу за почтовым концом прилавка стоял Сэм, а у весов — мать.

— Миссис Прюитт. — Викарий, как всегда, держал руки за спиной. — Гувернантка у Хэтерли вернулась. Только что. Я сам нёс сундук.

Миссис Прюитт сняла с весов фунт изюма.

— Знаю. С утра.

Викарий удивился, как это можно знать с утра то, что случилось в полдень, но возражать не стал. Человек он был добрый и решил, что почтмейстерше, видимо, сообщили по телеграфу. Марку он купил, и Сэм её продал, а потом нагнулся за упавшей монетой и поднимал её так долго, что мать успела взвесить ещё полфунта.

К вечеру в «Колоколе» в жестянку пошли новые билеты. Сгорело Рождество, сгорели двадцатое с двадцать четвёртым, и больше на Рождество никто не ставил. Теперь все писали Пасху. Писали «двенадцатое апреля». Писали «Страстная пятница», и Доббс требовал число. Один написал «Пасха, после обеда», и это носильщик принял, объяснив, что «после обеда» — почти что число.

— А она знает? — спросил кто-то от двери.

— Про что?

— Про жестянку.

Доббс вспомнил, как звякнуло у него в кармане на перроне.

— Не знает. А узнает — нарочно не уедет. Такая.

— Это почему?

— Потому что за вторую ручку берётся.

Никто ничего не понял, но и спорить никто не стал.

— Гейдж, — сказал хозяин. — А тот твой билет, далеко за Пасху. Теперь-то скажешь чей?

— Не скажу. Скажу одно: не мой. И не епископа.

Своё второе февраля Доббс трогать не стал. Но в тот вечер он два раза доставал жестянку и смотрел на китайца без лица, будто тот знал больше.

* * *

Во вторник миссис Хэтерли привела в мастерскую Тедди и принесла шляпку, ту самую, осеннюю.

Мастерская мисс Тиббс помещалась на Хай-стрит, между аптекой и скобяной лавкой, и в окне у неё на деревянных болванках стояли шляпы: с вишнями, с перьями, с бархатными анютиными глазками и одна с птичкой, которую никто не покупал третий год, но все приходили на неё посмотреть. Шила она половине прихода, а вторая половина ходила в том, что она шила раньше.

— Я подумала, мисс Тиббс, может быть, её немного... освежить? Убрать вот это... то есть, я хочу сказать, что бахрому, кажется, не к зиме, а может быть, и вообще не к шляпке, я сама не знаю, зачем...

— Уберу, мэм.

Мисс Тиббс взяла шляпку и не стала смотреть на бахромку. На бахромку она насмотрелась ещё в ноябре, в церкви, и тогда же поняла, с какой портьеры эта бахрома: такой бахромой обшивают тяжёлые занавеси, где-нибудь в бильярдной. Сказать об этом она не сказала ни в ноябре, ни сейчас. За работу назвала цену меньше той, какую стоила нитка, и заказчица не заметила, потому что не знала, сколько стоит нитка.

У окна жена мясника примеряла шляпу с вишнями. Тедди стоял посреди мастерской, задрал голову, и смотрел на шляпы.

— У вас все шляпы какие-то слишком.

— Тедди!

Жена мясника сняла вишни с головы.

Шляпница вынула изо рта булавки.

— Слишком. Прав мастер Тедди.

Булавки в рот она возвращать не стала, а воткнула в подушечку. На людях с ней такого не случалось лет двадцать. Миссис Хэтерли не знала, куда деть руки. Жена мясника купила вишни, хотя уже не хотела, просто чтобы поскорее выйти и рассказать.

* * *

Слишком. Тридцать лет мисс Тиббс шила приходу то, что приход просил: вишни, перья, цветы на три сезона вперёд. Приход любил, чтобы на шляпе что-нибудь росло. Сама она носила одну шляпу, чёрную, на похороны и на свадьбы, и

меняла на ней только ленту.

О лондонской моде она говорила так, что всем было ясно её отношение. Ясно было — и неверно. Ругала она лондонскую моду потому, что похвалила она её хоть раз, и приход захотел бы лондонских шляпок, простых, а простая шляпка — самая трудная работа на свете. Под вишнями можно спрятать что угодно. В простой шляпке каждый стежок на виду.

В тот четверг в октябре она стояла у окна, когда мальчишка из бакалеи пробежал мимо и крикнул, что гувернантка идёт к Хэтерли пешком. Шляпку она разглядела сразу. Фетр хороший, но не новый, тщательно вычищенный щёткой. Ни перьев, ни цветов. Сбоку одна пуговица.

Остальное она разглядела в воскресенье, в церкви, со скамьи позади гувернантки — там же, где потом насмотрелась и на бахрому. Пуговицу пришивали не на машине, а рукой, и не один раз: под новой ниткой виднелись следы старой. Стежки мелкие, нитка подобрана в цвет, а узелок спрятан под фетр так, что найти его могла только мисс Тиббс. Кто так пришивает пуговицу, тот не уезжает к Пасхе. Тот вообще никуда не уезжает, пока держится пуговица, а держаться такая пуговица будет лет десять.

Поэтому на бумажке она написала: «16 октября 1934 года». День в день.

В «Колокол» она, конечно, не пошла. Порядочная женщина в общий зал одна не ходит. Бумажку и шесть пенсов она завернула вместе и отдала Гейджу, садовнику, у задней ка-

литки. Он подстригал ей шиповник, а в тот субботний вечер, когда Доббс завёл жестянку, сходил из «Колокола» домой за табаком и по дороге завернул к ней рассказать. Гейдж всегда прибавлял. Зато не выдавал: к «не скажу» прибавить нечего.

Модистка отпорола бахрому одним движением, свернула и положила заказчице в сумочку, чтобы не пропала. Миссис Хэтерли поблагодарила длинно, с тремя «то есть», и пообещала зайти в пятницу.

— Без бахромы вам лучше, мэм.

Больше она ничего не сказала, и гостя до самой двери держалась так, будто несла на голове шляпку, которая ещё не готова.

— А мисс Пенроуз вернулась, — сообщил Тедди уже с порога. — С книгами. Доббс говорит, на мешок угля тяжелее.

Мисс Тиббс как раз вдевала новую ленту. Что гувернантка вернулась, она знала с субботы. Про мешок угля слышала впервые — и заторопилась, и, конечно, уколола палец.

— Вам больно? — спросил Тедди.

— Нет.

Объявление

Из «Таймс». Февраль 1925 года

ШКОЛА МИСС ЭЙВЕРИ ДЛЯ ДЕВОЧЕК, ХАЙГЕЙТ

Дневная школа и пансион. Подготовка к школьному аттестату и к поступлению в университет.

Стипендиальный экзамен состоится во вторник, 5 мая 1925 года, в здании школы. Предлагаются две стипендии, покрывающие часть платы за обучение, для девочек, получивших хорошую подготовку дома или в другой школе. Заявления принимаются до 14 февраля включительно.

Экзамен проводится ежегодно. Проспект и условия на следующий учебный год высылаются в сентябре по письменному запросу на имя секретаря.

Опоздали

«Холлиз», классная. Февраль 1925 года

Растопку в классную Нэнси приносила по утрам вместе с углём: щепки, сухие шишки из сада и старые газеты полковника. «Таймс» уходила на растопку недели через две после того, как полковник её дочитывал. Раньше он газету не отдавал: вдруг понадобится погода.

Пока огонь разгорался, Нора читала растопку. Привычка была кентиш-таунская. Дома газету покупали не каждый день и читали до последней строчки, вплоть до объявлений о продаже подержанного катка для белья и о пропаже мопса, отзывающегося на кличку Генерал. В «Таймс» мопсы пропадали реже, зато объявления были длиннее.

В четверг, девятнадцатого, ей попался номер от начала месяца. Нора скомкала первый лист, сунула под щепки и разгладила второй. Объявление стояло в самом низу, между частной лечебницей в Брайтоне и пансионом для мальчиков в Кенте.

Прочла она его два раза. Потом ещё раз, медленно, по строчке, будто проверяла упражнение.

Хайгейт. Экзамен пятого мая. Две стипендии. Заявления до четырнадцатого февраля.

Сегодня было девятнадцатое.

Огонь занялся, и щепки затрещали. Нора отодвинула га-

зету от решётки.

Пять дней. Пять дней назад можно было ещё написать письмо, и оно успело бы. Хотя кто бы его подписал? Нора представила себе, как идёт в кабинет к полковнику с газетой в руке, и дальше двери представить не смогла. Сколько стоит такая школа, она не знала. Знала зато, сколько стоил учительский колледж. Стипендия покрывает часть. А другую часть пришлось бы платить дому, где уголь откладывают на Рождество по ведру с ноября.

Свой экзамен на стипендию Нора помнила до сих пор. Ей было одиннадцать, класс был чужой, и на второй задаче у неё сломалось перо. Вторую половину она писала пером соседки по парте, рыжей девочки, имени которой Нора так и не узнала. Стипендию дали обеим.

И вообще это было не её дело. Она гувернантка, а не мать. Чужие деньги в чужом доме гувернантке считать не полагаются, даже если сосчитать их нетрудно.

Нора взяла со стола ножницы Мод, аккуратно вырезала объявление, сложила вдвое и убрала в грамматику Кеннеди, между вторым склонением и третьим. Остаток страницы отправила в огонь.

В половине девятого она всё-таки спустилась в малую гостиную, сама не зная, что скажет. Миссис Хэтерли сидела у стола над хозяйственной книгой. Рядом лежал счёт угольщика, длинный, со столбиком мешков, и, когда Нора постучала, миссис Хэтерли накрыла его ладонью.

— Мисс Пенроуз! Что-нибудь случилось? Дети? Я не хочу сказать, что обязательно что-то случилось, но в такой час...

— Нет. Я хотела спросить... мел кончается.

— Мел. Конечно. Я скажу Нэнси... или нет, лучше сама напишу, чтобы в субботу... Мел. Да.

Ладонь со счёта она так и не убрала. Нора поблагодарила и поднялась наверх. Мела в классной было на месяц.

Когда пришли дети, в классной было тепло. Нора задала Джорджу деление, Тедди — палочки, Мод — перевод. Про газету — ни слова.

Перевод Мод получила труднее обычного: полстраницы, и первые полчаса без словаря.

— Это нечестно.

— Это экзамен, — сказала Нора. Слово вышло само. — Упражнение.

Мод сделала его за сорок минут, с двумя ошибками. В октябре ошибок было бы двадцать, и все из соседней таблицы. Нора исправила обе и ничего не написала на полях, хотя хотелось написать «хорошо». Писать «хорошо» она себе не позволяла до тех пор, пока не будет «отлично».

* * *

После обеда мальчиков позвали вниз: Джордж сдавал миссис Гейдж таблицу умножения на восемь в обмен на кусок пирога, а Тедди пошёл следить, чтобы обмен был честный. Мод осталась в классной с переводом и с окончанием, в котором сомневалась.

Кеннеди ей ещё с Нового года разрешили брать без спору. Мод вынула грамматику из стопки и раскрыла на втором склонении.

Из грамматики выпала сложенная вырезка.

Мод подняла её, развернула и прочла. «Школа мисс Эйвери для девочек, Хайгейт». Стипендиальный экзамен. Заявления до четырнадцатого.

Что такое стипендия, Мод знала с Рождества, с четвёртой страницы: за тебя платят, потому что ты лучше всех сдала экзамен. Стипендии «покрывали часть платы», и она представила себе плату, укрытую стипендией, как одеялом, из-под которого торчат ноги. Давали их девочкам, «получившим хорошую подготовку дома». Дома у Мод было четыре месяца мисс Пенроуз и двенадцать лет отцовских полок, читанных подряд.

Мисс Пенроуз стояла у окна. Она, конечно, слышала, как что-то упало.

— Это для меня?

— Для тебя.

Она отошла от окна и села напротив, за стол с инициалами Джорджа.

— Только мы опоздали.

— Четырнадцатое февраля. Сегодня девятнадцатое. Пять дней.

С октября Мод знала даты. Теперь оказалось, что от дат бывает и вред.

— Если написать сегодня? И объяснить?

— А кто подпишет?

Мод посмотрела на дверь, которая вела в коридор, к лестнице, а с лестницы — к кабинету.

— Папа скажет, что сыро.

Мисс Пенроуз не засмеялась, хотя могла бы. Она взяла вырезку и показала пальцем на последнюю строчку: экзамен проводится ежегодно, проспект на следующий год высылают в сентябре.

— В сентябре?

— В сентябре проспект. Экзамен весной.

— Ещё год.

— Год.

— А вы? Вы учились на стипендию?

— На стипендию.

— А потом?

— Потом был учительский колледж. На него платить было нечем.

Ответила она так, как говорят, сколько стоит фунт сахара. Мод запомнила.

— А что там будет? На экзамене?

— Узнаем из проспекта. Наверное, латынь. Арифметика. Сочинение.

— Сочинение о чём?

— О чём велят.

— Обо всём сразу?

— Немного обо всём.

— Немного — это сколько? — спросила Мод и сама услышала, что спрашивает, как Джордж.

— Сколько нужно.

Мод сложила вырезку по старому сгибу. Год — это двенадцать месяцев латыни, если каждый день, и ещё сколько-то, если и по воскресеньям. Это она сосчитала сразу. Остальное тоже сходилось, только хуже. Мама по вечерам считала в хозяйственной книге и думала, что никто не видит.

— Стипендия — это часть. А остальное?

Мисс Пенроуз промолчала.

— В сентябре Джордж едет в приготовительную. Туда, где папа учился. Мама каждый вечер считает, сколько это стоит. Я видела.

— Видела, — повторила она. Не спросила, а просто повторила, будто записала.

— На Джорджа есть. А на двоих...

Договаривать Мод не стала. Мисс Пенроуз и так поняла.

За окном Хоскинс провёл по двору лошадь. Внизу хлопнула дверь, и Тедди на всю лестницу объявил, что Джордж сказал «восемью семь — пятьдесят четыре» и пирог надо отдать. Мод положила вырезку в синюю тетрадь, на последнюю страницу, к датам.

— Латынь бесплатная? — спросила она.

— Латынь — да.

— Тогда начнём с неё. Остальное дороже.

Мисс Фрай выходит замуж

Церковь Святого Михаила. Февраль 1925 года

— Наконец-то.

— А кто же теперь?

На этих двух фразах Минтон-Кросс и разошёлся, когда стало известно, что мисс Фрай выходит за Колвина из Лоуэр-Минтона. Одна половина прихода считала годы, другая — детей.

Годы считать было нетрудно. Колвин ухаживал за мисс Фрай четыре года, и все четыре года одинаково. Каждое воскресенье он приезжал к утренней службе на тележке с пегой лошастью, садился через две скамьи позади неё и всю службу смотрел ей в затылок так внимательно, будто там написано, когда кончится проповедь. После службы провожал её до калитки дома, где она снимала комнату, приподнимал шляпу и уезжал. Однажды, позапрошлым летом, он дошёл с ней до самой двери, и это обсуждали до Михайлова дня. Так что, когда в январе Колвин наконец спросил, а она наконец ответила, «наконец» сказали все, у кого не было детей младше десяти лет.

У кого были, говорили другое.

Мисс Фрай пять лет учила младших в церковной школе: буквам, счёту до ста, молитве перед обедом и тому, что нос вытирают платком, а не рукавом. Голос у неё был такой, что

по её «Тише!» в половине десятого на Чёрч-лейн можно было ставить часы. Пекла она лучше всех в приходе, а печку в классе, которая дымила, умела успокоить одним ударом ноги. Дети её любили и боялись в правильной пропорции, а матери считали, что лучше пропорции не бывает.

— Ну а остаться? — спрашивала булочница, у которой младший с сентября ходил в школу и всё ещё путал, в какую сторону смотрят буквы. — Почему ей не остаться?

— Пришлют теперь из Хартфорда какую-нибудь, — говорила жена мясника. — А та и печку пнуть не сумеет.

— Колвин что, против?

Колвин был не против. Против было графство. Это знали все, а вот почему — уже не все.

В пятницу, накануне свадьбы, мисс Фрай в последний раз крикнула своё «Тише!» в половине десятого, и на Чёрч-лейн по привычке сверили часы. Потом она весь день говорила вполголоса, и хозяйки, которые слышали её пять лет, решили, что у неё простуда. В половине четвёртого она отпустила класс, вымыла доску, хотя по пятницам доску мыли мальчишки, и долго стояла у печки. Печка в тот день не дымила, и пнуть её было не за что.

* * *

Венчались в субботу, в два часа. Торт невеста испекла сама, потому что никому не доверяла, и ещё два противня булочек для класса, потому что никому не доверяла и классу. Колвин стоял у алтаря в костюме, которого в Минтон-Крос-

се раньше не видели, и, судя по тому, как он в нём стоял, сам тоже видел его впервые.

Церковь была полна. Пришли те, кого звали, и те, кого не звали, но кто считал, что свадьба учительницы — дело всего прихода, как крыша и колокол. Мисс Тиббс пришла в своей единственной чёрной шляпе. Лента на ней в этот раз была сиреневая: у мисс Тиббс для свадеб сиреневая, для похорон чёрная, а на крестины она не ходила, потому что там всё равно никто не смотрит на шляпы.

Дети из класса мисс Фрай сидели на трёх задних скамьях, умытые до красноты, и вели себя так хорошо, что викарий дважды сбился, не веря своим глазам. Когда невеста пошла по проходу, кто-то из маленьких громко сказал «мисс Фрай!» и помахал. Невеста обернулась: за пять лет она привыкла оборачиваться. Жених тоже обернулся, потому что пока ещё не привык ни к чему. Своё «беру» он сказал так громко, что с задних скамей ему ответили «Тише!», хором и голосом мисс Фрай, и викарий сбился в третий раз.

Из «Холлиз» на свадьбу никого не звали, но гувернантка привела Мод и Тедди посмотреть, и они стояли сбоку, у колонны. Тедди хотелось видеть торт, Мод — как произносят клятвы. Клятвы оказались короче, чем в книгах, и Мод осталась недовольна: в книгах перед этим кто-нибудь непременно скакал всю ночь. Гувернантка, судя по всему, пришла посмотреть на класс. Весь обряд она смотрела не на невесту, а на три задние скамьи, где сидели её будущие, как потом

выяснилось, ученики, и все разом болтали ногами.

* * *

После венчания всех выпустили во двор, к воротам. Ветер был с поля, холодный, и булочки раздавали прямо из корзины, пока не остыли. Колвин подсаживал жену в тележку так медленно и бережно, будто грузил на рынок корзину яиц.

Молодой Прюитт стоял у ворот, без шляпы, потому что держал её в руке, а руку — за спиной, совсем как викарий. Мальчишки, проходя мимо, по привычке переставали толкаться и начинали снова уже за воротами. Учитель этого будто не замечал.

Гувернантка подошла к нему сама. Тедди дожёвывал булочку, Мод стояла рядом и слушала, глядя при этом на чужую лошадь, как и положено слушать взрослых.

— Мистер Прюитт. Почему она должна уйти?

Он подумал.

— Так в бумаге. Когда её брали на место, она подписала: выйдет замуж — уйдёт.

— Это закон?

— Закона нет. — Он переложил шляпу из одной руки в другую. — Правило. У графства. А управляющие школы с графством не спорят.

— А кто управляющие?

— Викарий. Председатель.

Оба посмотрели на викария. Тот стоял у ворот, руки за спиной, и объяснял жене мясника, что колокол сегодня зво-

нил лучше, чем на Рождество.

— А если бы она не подписала?

— Её бы не взяли. — Сэм помолчал. — В Уэльсе про-
бовали спорить. Два года назад совет уволил шестьдесят за-
мужних учительниц разом. Одна пошла в суд. Суд сказал,
что совет в своём праве.

— А учителя-мужчину за женитьбу увольняют?

— Нет. Считается, что жена ему не мешает.

Мод оторвалась от лошади и взглянула на него. Гувер-
нантка не засмеялась.

— А если не выходить замуж? — спросила Мод, снова
повернувшись к лошади.

— Тогда до самой пенсии. — Он подумал ещё. — Пенсия,
говорят, неплохая.

— Я не выйду, — сообщила Мод лошади.

Гувернантка смотрела на тележку.

— А она хотела уходить?

— Это у неё спросите. — Он кивнул на тележку. — Вчера
после уроков оставила на столе мел. Целую коробку. Чтобы
не пропал.

Тележка тронулась. Дети с задних скамей побежали сле-
дом до самого поворота, крича «мисс Фрай!», и она махала
им, пока было видно, а Колвин правил и не оборачивался,
потому что смотреть одновременно на дорогу и на жену ещё
не научился.

Дольше всех вслед им смотрела гувернантка. Потом взяла

Тедди за руку и сказала учителю «спасибо». Он ответил «не за что» и, как всегда, после паузы добавил «мисс». На том и разошлись.

* * *

Минтон-Кроссу этого хватило до вечера.

Жена мясника стояла у ворот ближе всех и расслышала из разговора половину: «Выйдет замуж — уйдёт?» Вторую половину она восстановила сама, по смыслу, и смысл получился такой, что гувернантка из «Холлиз» расспрашивает про замужество. А кто расспрашивает, у той есть про кого. А у кого есть про кого, та уйдёт, и, может быть, раньше Пасхи.

К вечернему чаю перебрали всех холостяков прихода. Племянника булочницы, которому было девятнадцать и который краснел, когда с ним здоровались. Двух сыновей фермера Лэма из Лоуэр-Минтона: одному было шестнадцать, а другой собирался в Канаду. Вдовца-аптекаря, который вдовел так давно, что сам, кажется, об этом забыл. Нэнси вычеркнула Берта Гейджа, сама и сразу. И даже Хоскинса, но Хоскинса вычеркнули все: женат он был давно и прочно, на лошади.

Молодого Прюитта в списке не было. Учитель и есть учитель, какой из него жених.

В «Колоколе» парень с фабрики, тот самый, у которого сгорел сочельник, попробовал положить в жестянку бумажку «свадьба».

Доббс развернул её и вернул.

— Это не число.

— А если она замуж выйдет, это как — уехала или нет?

— Замуж — это не уехала, — сказал Гейдж. — Замужние никуда не уезжают. Моя вон двадцать лет как вышла, и всё здесь.

— Твоя в «Холлиз» живёт, — сказал кто-то. — А не у тебя.

Гейдж хотел ответить, что по воскресеньям у него, но в «Колоколе» уже смеялись, и он решил, что ответит в следующую субботу.

Правило у Доббса было собственное, и портить его он не хотел.

— Будет за кого — тогда и решу.

Одолжить гувернантку

«Холлиз», гостиная. Февраль 1925 года

Когда Нэнси доложила, что приехал викарий, Клара первым делом подумала не о викарии, а о том, где его посадить.

В малой гостиной горел огонь, но на столе лежала раскрытая хозяйственная книга, а под ней счёт угольщика, а рядом корзинка со штопкой, и всё это можно было, конечно, убрать за минуту, но викарий сидел бы как раз напротив кресла, у которого протёрся подлокотник, и смотрел бы на подлокотник всё время, пока говорит, а викарий говорил долго. Большая гостиная была лицом дома. Лицо, правда, не топили с Рождества.

— В гостиную. И, Нэнси... нет. Ничего. В гостиную.

Камин она решила не разжигать. Один визит стоил ведра угля, а ведро она откладывала на следующее Рождество. Викарий был человек добрый и пальто снимать не стал. Руки он, как всегда, держал за спиной, и Клара впервые подумала, что, может быть, он держит их там не по привычке, а чтобы согреть.

— Миссис Хэтерли, я, собственно, с просьбой. С просьбой, которую мне неловко произносить, и я её всю дорогу репетировал, отчего она, знаете ли, стала только неловчее. Вы ведь слышали, что мисс Фрай нас покинула?

— Я слышала, что она вышла замуж. Мы все так рады...

— Рады, рады. — Викарий закивал. — «Двоим лучше, нежели одному», сказано у Екклесиаста. Но школе, увы, наоборот: школе одному хуже, чем двоим. Мистер Прюитт остался на всех. Графство обещает прислать замену, но вы знаете графство. Пока они там найдут, пока утвердят, пока она приедет... к апрелю, говорят. А у мисс Фрай по списку сорок два, все младшие, и они уже неделю сидят у мистера Прюитта на головах. Вернее, сидят его старшие, а младшие у старших на головах. Мистер Прюитт держится, но он не железный.

Клара сказала, что это ужасно, и подождала. К чему идёт дело, она уже понимала и надеялась, что ошибается.

— И я подумал о вашей мисс Пенроуз.

Она не ошиблась.

— Одолжить её нам, миссис Хэтерли. На несколько недель. С девяти до половины четвёртого. Я понимаю, как это звучит. Как будто у соседей просят двуколку. Но я сам нёс её сундук, когда она вернулась, и я вам скажу: я давно не держал в руках такой тяжести. Книги, миссис Хэтерли. Это, знаете ли, показательно.

Клара подумала о том, что скажет Минтон-Кросс. Она всегда сначала думала, что скажет Минтон-Кросс, а потом уже всё остальное, и так быстро, что сама не замечала. Минтон-Кросс скажет, что Хэтерли сдают гувернантку внаём. Как сдают комнаты. Как сдают выгон под чужих коров. А если не сказать «внаём», а сказать «помогают приходу», то

это уже совсем другое: это благотворительность, а благотворительность прилична всегда, даже когда больше ничего не прилично.

Жалованье за эти недели, добавил викарий, гувернантке будет платить графство. Жить она будет, где жила, и есть, что ела, а «Холлиз» не заплатит ей ни пенса. Сколько это в вёдрах угля, Клара сосчитала раньше, чем успела себе запретить. Вышло много. Думать об этом дальше она не стала.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.